

Василий Попков

Крушение империи

Хроники



Василий Попков

Крушение империи. Хроники

«Издательские решения»

Попков В.

Крушение империи. Хроники / В. Попков — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-693662-1

В 2026 году историк Михаил находит в старом бюро дневник своего прадеда — протоколиста «Общества 13-ти», готовившего отречение Николая II. Стенограммы тайных заседаний, перехваченные телеграммы, медицинские записи о цесаревиче Алексее и неожиданное признание: мальчик обладал даром ясновидения. Сто лет спустя в руки Михаила попадает детская тетрадь Алексея и загадочный документ 1953 года с подписью «А. Романов». Кто выжил в подвале Ипатьевского дома?

ISBN 978-5-00-693662-1

© Попков В.
© Издательские решения

Содержание

| | |
|--|----------|
| ПРОЛОГ | 6 |
| ГЛАВА 1. Инвентарная опись | 7 |
| ГЛАВА 2. Тринадцатый протокол | 17 |
| ГЛАВА 3. Дневник Кузьмина – Караваева | 27 |
| ГЛАВА 4. Протокол №1. Присутствие | 35 |
| ГЛАВА 5. Лейб-гвардия молчания | 45 |
| ГЛАВА 6. Протокол №4. Династический Конец ознакомительного фрагмента. | 52 57 |

Крушение империи Хроники

Василий Попков

© Василий Попков, 2026

ISBN 978-5-0069-3662-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ПРОЛОГ

2026, Санкт-Петербург

«Перед смертью прадед сказал: «Бюро. Двойное дно. Не верь отречению».

Он умер в среду, в пять часов семнадцать минут пополудни, и никто этого не заметил.

Собственно, прадед умер за одиннадцать лет до того, как я родился, – а значит, не мог мне ничего сказать. Фраза досталась по эстафете: прадед – бабушке, бабушка – моей матери, мать – мне, в конверте из плотной кремовой бумаги, заклеенном сургучом с оттиском «А.К.-К.».

В конверте не было ничего, кроме этой фразы.

Сургучная печать изображала двуглавого орла. Не советского, не современного, не герба Временного правительства – именно имперского, с опущенными крыльями, каким его ставили на полевых телеграммах Ставки в пятнадцатом-семнадцатом. Я проверил.

Двадцать лет конверт лежал в моём столе, и двадцать лет я не знал, что с ним делать. Расшифровывать? Расследовать? Сжечь? В конце концов, у меня была диссертация по экономической истории Северо-Запада, две монографии о железнодорожных тарифах при Александре Третьем и абсолютно спокойная жизнь без фамильных тайн.

Я вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице, но на площадке первого этажа остановился.

На стене, рядом с почтовыми ящиками, висело старое зеркало в облупившейся раме. Я посмотрел в него – и на секунду мне показалось, что из темноты на меня смотрит не моё лицо.

Другое.

С усами, с погонами, с глазами, видевшими императорский поезд в ночь со второго на третье марта.

Я моргнул.

В зеркале был я.

Вышел на улицу. Хлопнула дверь.

В Петербурге начиналась осень.

ГЛАВА 1. Инвентарная опись

2026. Санкт-Петербург, Петроградская сторона

Ключ повернулся в замке с таким скрежетом, будто отпирали не дверь, а склеп.

Михаил Александрович Кузьмин-Караваев, сорока двух лет от роду, доктор исторических наук, автор двух монографий по экономической политике Александра Третьего и человек, никогда не веривший в фамильные проклятия, переступил порог квартиры, в которой никто не жил сорок лет.

И остановился.

Запах ударил в лицо – не спёртый, не затхлый, каким должен пахнуть долго запёртый воздух. Нет. Это был запах присутствия. Нафталин, да. Старая бумага, да. Полированное дерево, разогретое солнцем сквозь пыльные стёкла, – да. Но ещё – табак. И одеколон. И что-то сладковато-горькое, неуловимое, похожее на ладан или на сохнувшие чернила.

Тобака здесь никто не курил с 1970-х. Одеколону – с 1940-х. Чернил – с 1917-го.

Михаил поставил портфель на пол и не сразу разжал пальцы, побелевшие на ручке.

Прихожая была маленькая, квадратная, с потемневшим зеркалом в тяжёлой дубовой раме и вешалкой, на которой не висело ни одного пальто. Только крючки – чугунные, литые, с завитками, какие ставили в доходных домах до революции. На одном крючке держалась соломенная шляпа. Не женская, не мужская, а какая-то ничья – выцветшая, выгоревшая до бежести, с полями, опущенными, как усталые плечи.

Михаил снял её, повертел в руках. Внутри, на потёртой ленте, ещё можно было разобрать тиснение золотом: «Братья Бриллиантовы. Москва, Кузнецкий Мост».

Он положил шляпу на тумбочку. Снял пальто, повесил на тот же крючок. Вошёл в комнату.

Солнце било прямо в окно, и в его лучах танцевала пыль – миллионы микроскопических частиц, поднятых его шагами, его дыханием, его присутствием. Пыль здесь была особенная. Не та серая, городская, что оседает на подоконниках за три дня. Эта пыль лежала слоями, пластами, геологическими эпохами – и каждый слой, наверное, можно было датировать с точностью до десятилетия.

1930-е – толчёная штукатурка и газетная зола. 1940-е – тончайшая сажа блокадных печек-буржук. 1950-е – мельчайшие волокна дешёвой шерсти от бабушкиных платьев. 1960-е – сигаретный пепел и высохшие лепестки гвоздик. 1970-е – полиэтиленовая крошка и синтетика. 1980-е – дальше пыли почти нет, потому что бабушка переехала к ним на Василеостровскую, а здесь только изредка открывали окна, проветривали, вытирали полки наспех – и уходили.

А самый нижний слой, на самом дне, на полу, в углах, под плинтусами, – та пыль, что лежала здесь с августа 1917-го, когда полковник Кузьмин-Караваев в последний раз закрыл за собой дверь, уезжая в Могилёв, откуда не вернулся никогда.

Михаил опустил на корточки и провёл пальцем по паркету. Палец стал серым.

Он подул – и облачко вековой пыли взвилось в солнечный луч, закружилось, заискрилось, как звёздная туманность.

– Ну, здравствуй, – сказал Михаил вслух.

Квартира молчала.

Он поднялся, огляделся.

Комната была большая, метров тридцать, с высокими лепными потолками и окном во всю стену, выходящим во двор-колодец. Мебель стояла редко, но веско: массивный платяной шкаф красного дерева, обеденный стол на точеных ножках, два венских стула с гнутыми спин-

ками, книжный шкаф под самый потолок, набитый подшивками журналов «Нива» и «Огонёк», и в углу, прикрытое выцветшей льняной простыней, – бюро.

Михаил подошёл.

Простыня была серая, в мелкую клетку, с меткой, вышитой красным: «А.К.-К. 1915». Углы истлели, ткань на сгибах рассыпалась от прикосновения. Он откинул её осторожно, как снимают бинты с многолетней раны.

Бюро стояло тяжёлое, чёрное от времени, с бронзовыми накладками, протёртыми до дыр. Карельская берёза – когда-то светлая, золотистая, с замысловатым муаровым узором – потемнела до шоколада, а в углах, где руки касались дерева чаще всего, до черноты. Верхняя крышка была опущена, запирающий механизм – бронзовый язычок в фигурной розетке – держался на честном слове.

Михаил потянул язычок на себя. Механизм щёлкнул сухо, отчётливо, как взводимый курок.

Крышка не поддалась.

Он потянул сильнее. Бесполезно.

– Ключа нет, – сказал он вслух. – Конечно, ключа нет.

Он обошёл бюро кругом, заглянул под него, прощупал заднюю стенку. Дерево везде было плотным, глухим, без намёка на тайник.

– Ладно, – сказал Михаил. – Потом.

Он отошёл к окну.

Двор-колодец был глубок, как шахта. Внизу, метрах в тридцати, копошились люди, ездили машины, лаяла собака. Но сюда, на пятый этаж, не долетало ни звука – только серый свет, только медленное кружение пыли.

За стеклом, на подоконнике, стояла герань в глиняном горшке. Растение умерло так давно, что превратилось в скелет – коричневые сухие стебли, похожие на телеграфные провода, и горстка чёрных листьев на дне.

Михаил тронул стебель – он рассыпался в прах.

... Риелтора звали Кирилл, ему было лет двадцать пять, и у него было лицо, которое невозможно запомнить. Не потому, что некрасивое, а потому, что идеально, профессионально нейтральное. Такие лица бывают у людей, чья работа – продавать чужие жизни.

Кирилл пришёл через час, с планшетом, лазерной рулеткой и блокнотом на спирали. Он ходил по квартире, щёлкал рулеткой, записывал цифры, и лицо его при этом не выражало ровно ничего.

– Метраж шестьдесят два, – сказал он. – Потолки три двадцать. Санузел совмещённый, требует капитального ремонта. Коммуникации оригинальные, предположительно 1912 года. Окна выходят во двор. Этаж пятый. Лифта нет.

– Я знаю, – сказал Михаил.

– Вы здесь бывали раньше?

– В детстве. Один раз.

– И что запомнили?

Михаил помолчал. Он помнил не квартиру, а ощущение – запах, пыль, солнечный луч. И старика в кресле, который смотрел в окно и не оборачивался.

– Ничего, – сказал он.

Кирилл кивнул, сделал пометку в планшете.

– Собственник – вы?

– Сейчас оформляем. Бабушка оставила завещание.

– Соболезную, – сказал Кирилл с интонацией, которая означала: «Это обязательная часть разговора, мы можем её пропустить».

– Спасибо.

– Планируете продавать?

– Пока не знаю.

– Если будете продавать, рынок сейчас не очень. Петроградская сторона – да, локация хорошая, но дом старый, нелифтовой, капремонта не было. Плюс коммуналка рядом, подселение было?

– Не было.

– А соседи?

– Понятия не имею.

Кирилл сделал ещё одну пометку.

– Вы знаете, что здесь никто не жил сорок лет?

– Да.

– Сорок лет, – повторил Кирилл, и в голосе его впервые проступило что-то человеческое – не то любопытство, не то недоумение. – Как так вышло?

Михаил посмотрел на бюро, прикрытое простынёй.

– Бабушка переехала к нам в 1986-м. Сказала, что здесь неуютно.

– А почему не сдавала?

– Не знаю. Говорила, что не хочет чужих.

– Чужих? – Кирилл поднял бровь. – В смысле – чужих людей?

– Да.

– Странно. Квартира в центре, можно было получать хороший доход. А она просто... держала её пустой?

– Держала.

Кирилл посмотрел на пыль, на высохшую герань, на бюро в углу.

– Здесь есть что вывозить? Мебель, вещи?

– Есть.

– Оценщика вызвать?

– Потом.

Кирилл пожал плечами. Его дело – цифры, метры, проценты. Чужие фамильные тайны в договор купли-продажи не входят.

– Ну, смотрите. Мой номер у вас есть. Если надумаете продавать – звоните.

Он убрал рулетку в чехол, застегнул планшет.

– И ещё, – сказал он уже в дверях. – Тут странная акустика. Я когда в комнате говорил – эхо было. А когда вы сказали «здесь никто не жил» – эха не было. Словно кто-то слушал.

Он усмехнулся своей шутке, кивнул и вышел.

Дверь закрылась с тем же скрежетом, с каким открывалась.

Михаил остался один.

Он не планировал ничего искать.

Он вообще не знал, зачем пришёл. Формально – составить опись, решить, что вывозить, что оставить, что выбросить. По-настоящему – просто побыть здесь. Одному. В тишине.

Он открыл платяной шкаф.

Пахло нафталином и временем. На вешалках висели пальто, платья, мундиры – ни одного моложе 1950-х. Он трогал ткань, читал этикетки, пытался представить людей, которые это носили. Прадед – высокий, сутулый, с усталыми глазами. Прабабка – полная, в кружевной наколке, умерла в эвакуации. Бабушка – маленькая, быстрая, всю жизнь проработавшая учительницей немецкого.

Он закрыл шкаф.

Книжный шкаф был забит подшивками. «Нива», 1913—1916. «Огонёк», 1920-е. Несколько томов энциклопедии Брокгауза и Ефрона, корешки выцвели до бежевого. Собрание сочинений Мамина-Сибиряка, никем не читанное, с неразрезанными страницами.

Михаил вытащил один том «Нивы» – апрель 1914-го, на обложке портрет какой-то великой княжны в трауре. Перелистал. Реклама швейных машин «Зингер». Роман с продолжением. Фотографии с Балканского фронта. Некролог.

Он поставил том на место.

Обеденный стол был пуст. Венские стулья – пусты. Подоконник – пуст.

Осталось бюро.

Михаил подошёл к нему, сел на корточки. Осмотрел замок. Бронзовый язычок был не сломан – просто заржавел от времени. Если сильно надавить...

Он надавил.

Язычок щёлкнул, и крышка чуть приподнялась.

Михаил потянул её на себя. Петли взвизгнули, но поддались. Внутри были ящики, отделения, перегородки – всё пустое, выметенное, вычищенное. Только на самом дне, в углу, лежала пыль и засохшее перо.

– Ничего, – сказал Михаил. – Конечно, ничего.

Он провёл пальцем по дну. Дерево было гладкое, отполированное годами. Ни щелей, ни зазоров, ни намёка на тайник.

Он хотел уже встать, но задел ногой ножку бюро, потерял равновесие и опёрся рукой о дно.

Дно качнулось.

Совсем чуть-чуть, на миллиметр. Если бы не опора на руку, он бы не заметил.

Михаил замер.

Он нажал на дно ладонью – оно не шелохнулось. Надавил сильнее – то же самое. Тогда он опустился на колени, засунул пальцы в щель между дном и задней стенкой, потянул вверх.

Дно поднялось на два сантиметра и застряло.

Он потянул сильнее. Дно поддалось – и открылось, как крышка старинной шкатулки, у которой сломался замок и держится только на честном слове.

Под дном лежала тетрадь.

Она была в кожаном переплёте, тёмно-коричневом, почти чёрном, с потёками воска на обложке. Углы сбиты, корешок потрескался, но держится. Ни названия, ни года, ни имени владельца. Только на форзаце – едва различимый, выцветший до призрачности, экслибрис: вензель «А.К.-К.» под императорской короной.

Михаил взял тетрадь в руки.

Она была тяжёлая. Не физически – страниц двести, обычный дореволюционный блокнот. Тяжесть была другая. Такая бывает у вещей, которые слишком долго ждали, слишком много видели и слишком долго молчали.

Он открыл наугад.

Страницы были исписаны мелким, чётким почерком – буквы с наклоном влево, плотные строки, почти без полей. Почерк был узнаваемый: тот же, что в письмах «Милостивый государь», которые он видел в семейном архиве.

Почерк полковника Кузьмина-Караваева.

Но половина строк была не по-русски.

Вернее, буквы были русские, но они складывались в странные, нечитаемые сочетания. Между ними мелькали значки, которых Михаил никогда не видел: крючки, петли, сокращения, похожие на стенографию. А рядом, на полях, – приписки, сделанные уже другой рукой, крупным, торопливым, почти детским почерком.

Он перевернул страницу. Ещё одну. Ещё.

Двести страниц убористого текста, перемежающегося шифром.

На последнем форзаце, синими чернилами, расплывшимися от времени, было написано: «Полковник, вы обещали записать всё. Я верю вам. Алексей»

Михаил сидел на полу, держа тетрадь в руках, и пыль танцевала в солнечном луче, и где-то внизу, во дворе-колодце, лаяла собака, и жизнь шла своим чередом, и ничего особенного не случилось.

Только мир стал чуть-чуть другим.

Только у него в руках была тетрадь, которую не открывали сто лет.

Только на последней странице стояло имя, которое не должно было здесь стоять.

Имя мальчика, расстрелянного в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля 1918 года.

Алексея Николаевича Романова.

Он просидел над тетрадью до вечера.

Сначала просто листал, привыкая к почерку. Почерк был трудный – не каллиграфический, как у многих офицеров XIX века, а деловой, быстрый, с сокращениями. Некоторые буквы сливались в нечитаемые вензеля, некоторые слова были написаны так, что их можно было только угадывать.

Но главная проблема была не в почерке.

Главная проблема была в стенографии.

Михаил знал пять языков: английский, немецкий, французский, польский и латынь. Он мог читать древнерусские берестяные грамоты и петровские указы со скорописью начала XVIII века. Он даже немного понимал тайнопись старообрядцев – вязь, литорею, замысловатые криптограммы в заглавных буквах.

Но эти значки были не похожи ни на что.

Крючки, петли, дуги, точки – они напоминали то ли музыкальную запись, то ли телеграфный код, то ли вообще чей-то бред.

Михаил взял телефон, сфотографировал страницу, увеличил.

Нет. Это не бред. Это система.

Он посмотрел на часы. Пятнадцать сорок семь. Архивы работают до шести.

Он набрал номер.

– Здравствуйте, мне нужна Вера Павловна.

– А кто её спрашивает?

– Михаил Кузьмин-Караваев. Я от Лены Голубцовой из Института истории.

– Сейчас посмотрю... Вера Павловна! Вас к телефону!

В трубке зашуршало, закашлялось, потом раздался голос – старушечий, но твёрдый, с той особенной аристократической картавостью, которая почти исчезла после 1917 года.

– Слушаю.

– Вера Павловна, меня зовут Михаил Кузьмин-Караваев. Я правнук...

– Я знаю, чей вы правнук, – перебила она. – Что у вас?

Михаил запнулся.

– У меня... документ. Дореволюционный. Часть текста – обычная скоропись, часть – стенографические значки. Я не могу их прочитать.

– Система?

– Не знаю. Я не специалист. Похоже на крючки и петли...

– Габельсбергер, – сказала Вера Павловна. – Немецкая система, очень популярная в русской армии начала века. Быстрая, компактная, трудночитаемая без подготовки. Ваш прадед владел?

– Не знаю. Возможно.

– Конечно, владел. Он же начальник канцелярии. Штабная работа. Донесения, протоколы, переговоры. Стенографировал всё подряд. Наверное, и дневник вёл стенографически, чтобы никто не прочёл.

Михаил посмотрел на тетрадь.

– И что делать?

– Привозите, – сказала Вера Павловна. – Завтра утром. Я посмотрю.

– А сегодня?

– Сегодня у меня глаукома, ревматизм и программа «Время» по телевизору. Привозите завтра. И захватите лупу. Старую, не оптическую – стеклянную. Значки иногда видны только под определённым углом.

– Хорошо.

– И вот ещё что, – добавила она. – Кузьмин-Караваяев.

– Да?

– Не читайте это один. Не надо.

– Почему?

Вера Павловна помолчала.

– Потому что некоторые документы лучше читать при свидетелях. На всякий случай.

Она положила трубку.

Михаил смотрел на телефон. В динамике шли короткие гудки.

– На всякий случай, – повторил он вслух.

Квартира молчала.

Он не любил ждать.

Поэтому через пятнадцать минут он позвонил Лене Голубцовой.

Лена была его аспиранткой десять лет назад, а теперь – ведущий научный сотрудник Института лингвистических исследований, доктор наук, автор монографии о тайнописи в русских летописях. И, что важнее, она умела слушать, не перебивая.

– Лена, привет. Ты дома?

– В библиотеке. Что случилось?

– У меня документ. Требуется расшифровка.

– Какой документ?

– Дневник моего прадеда. 1916—1918. Часть текста – обычным письмом, часть – стенографией.

– Система?

– Габельсбергер, предположительно.

– О, это интересно. Немецкая стенография в русской армии? В 1916-м? Когда шла война с Германией?

– Вот именно, – сказал Михаил. – Поэтому я и звоню.

Лена помолчала.

– Ты знаешь, что Габельсбергер – это не просто стенография? Это полноценная альтернативная письменность. Своя грамматика, свой синтаксис, свои идиомы. В Германии на ней издавали книги. В России ею владели единицы.

– Мой прадед владел.

– Значит, он не хотел, чтобы кто-то прочёл его записи. При обычном шифре можно подобрать ключ. А стенография – это не шифр. Это другой язык. Его нужно учить.

– И что делать?

– Искать специалиста. Я знаю одного человека в Москве, он занимается исторической стенографией...

– У меня уже есть специалист. Вера Павловна.

Лена присвистнула.

– Вера Павловна? Та самая?

– Та самая.

– Она же легенда. Говорят, она расшифровала дневник какого-то белогвардейского генерала, который пятьдесят лет считался нечитаемым. Ей, наверное, лет девяносто?

– Восемьдесят семь.
– И она согласилась?
– Да.

– Значит, документ действительно важный. Что там?

Михаил посмотрел на тетрадь, открытую на последней странице, на синие расплывшиеся чернила, на имя, написанное детской рукой.

– Я пока не знаю, – сказал он. – Но там есть приписка. От имени... одного человека.

– От чьего?

– Я скажу завтра. Когда расшифрую первую главу.

– Интригуешь.

– Не нарочно.

Лена помолчала.

– Миша, – сказала она тихо. – Ты как вообще?

– Нормально.

– Не похоже.

– А как похоже?

– Как будто ты нашёл что-то, что искал всю жизнь. И теперь боишься.

Михаил не ответил.

– Завтра напишу, – сказал он. – Спасибо, Лена.

Он отключился.

В комнате стемнело. Солнце ушло, пыль перестала танцевать и осела на подоконник, на стол, на венские стулья, на бюро с открытым тайником.

Михаил сидел на полу, привалившись спиной к книжному шкафу, и держал тетрадь на коленях. Он не включал свет. Ему казалось, что в темноте он слышит лучше.

Где-то внизу хлопнула дверь подъезда. Залаяла собака. Загремел мусоровоз.

Обычные звуки обычного вечера в обычном питерском дворе.

Ничего особенного.

Только тетрадь тяжелела с каждой минутой.

... Он уснул прямо там, на полу, уткнувшись лицом в сгиб локтя.

Спать хотелось – глаза слипались, мысли путались, но стоило закрыть глаза, как перед внутренним взором начинали плясать стенографические значки: крючки, петли, дуги, точки. Они складывались в слова, слова – в предложения, предложения – в чей-то голос, тихий, усталый, с интонациями, которые невозможно подделать.

«Протокол №1. 15 октября 1915 года. Петроград, квартира генерала Поливанова. Присутствовали:...»

Он провалился в сон незаметно, как в холодную воду.

Ему снился снег.

Не петербургский, мокрый, серый, а настоящий – крупный, искристый, падающий медленно, как в замедленной съёмке, каждый снежинку видно отдельно.

И окно.

Высокое, с двойными рамами, между которыми проложена вата и стоят стеклянные пузырьки с солью – от замерзания.

И человек у окна.

Он стоял спиной, в мундире без погон – защитные петлицы, полевые погоны сняты, на их местах тёмные прямоугольники невыгоревшего сукна. Седой затылок, короткая стрижка, чуть сутулые плечи. Руки за спиной, в правой – папироса, дым тянется вверх, смешивается с морозным воздухом от стекла.

– Александр Александрович, – сказал Михаил. – Прадед.

Человек у окна не обернулся.

– Я прочитал ваши записи, – сказал Михаил. – Не все. Пока только первую страницу. Там сказано, что вы дали обещание. Записывать всё. Кому вы обещали?

Молчание.

– Кто такой Алексей? – спросил Михаил. – Тот, кто написал на форзаце?

Папироса дрогнула в пальцах, пепел упал на подоконник.

– Почему вы молчите? – Михаил сделал шаг вперёд. – Я ваш правнук. Я имею право знать. Вы оставили эту тетрадь. Вы хотели, чтобы её нашли. Почему сейчас?

Человек у окна медленно, очень медленно повернул голову.

Лица не было.

Вернее, оно было – правильные черты, высокий лоб, седые усы. Но глаза... глаза смотрели не на Михаила. Они смотрели сквозь него, на снег, на ночь, на что-то другое, что было за окном, за временем, за жизнью.

– Я записал всё, – сказал он. Голос был сухой, шуршащий, как бумага. – Всё, что видел. Всё, что слышал. Всё, что сделал.

– Что вы сделали?

Пауза.

– Я не остановил их, – сказал прадед. – Я смотрел и записывал. Думал, что это долг. Думал, что правда важнее. А теперь...

Он замолчал.

– Теперь? – переспросил Михаил.

– Теперь я не знаю, для кого я это писал. Для вас? Для себя? Для него?

– Для кого – для него?

Прадед не ответил.

Снег за окном шёл всё гуще, уже не различить отдельных снежинок – сплошная белая стена, мгла, бездна.

– Он жив, – вдруг сказал прадед.

– Кто?

– Мальчик. Он жив. Я не знаю как, но это правда. Я чувствовал это каждый день до самой смерти. Он где-то есть. Ждёт. Надеется. Простит ли?

– Кого простит? – почти крикнул Михаил.

Прадед наконец повернулся к нему всем корпусом.

Лицо его было лицом человека, который сто лет носит в себе тайну и уже не помнит, где кончается она и начинается он сам.

– Простит нас, – сказал он. – Всех. Меня. Генералов. Думу. Отца, который не сумел его защитить. Страну, которая его предала. Простит ли?

– Я не понимаю, – сказал Михаил. – Вы говорите об Алексее? О цесаревиче? Он расстрелян в 1918-м. Вместе со всей семьёй. Это факт. Это доказано. Есть акты, протоколы, останки...

– Останки, – повторил прадед. – Да. Останки есть. А мальчика нет.

Он протянул руку и коснулся стекла. Снег таял на его пальцах, стекал водяными дорожками, как слёзы.

– Ищи, – сказал он. – Ты уже начал. Ищи дальше.

– Что искать?

– Правду, которую я записал. И правду, которую я скрыл. Они в одной тетради. Ты поймёшь, когда прочитаешь.

– Я не могу прочитать! – с отчаянием сказал Михаил. – Там стенография, шифр, я не знаю этих значков...

– Вера Павловна знает, – сказал прадед. – Она ждёт. Иди к ней. Завтра.

– Откуда вы знаете про Веру Павловну?

Но прадед уже снова отвернулся к окну, к снегу, к ночи.

– Иди, – повторил он. – Времени мало.

– Почему мало? У нас есть время...

– Нет, – сказал прадед. – У нас нет времени. Оно кончается. Снег идёт сто лет, а завтра растает. И всё исчезнет. И тетрадь. И память. И он.

– Кто он?!

Тишина. Снег. Белая стена за окном. Пустая комната.

Михаил проснулся от собственного крика.

В комнате было темно, холодно, с улицы тянуло сыростью. Он сидел на полу, прижимая к груди тетрадь, и пальцы его заоченели так, что он едва мог их разжать.

Часы показывали 5:17 утра.

Снега за окном не было. Шёл дождь.

... Вода закипела через три минуты.

Михаил заварил чай – крепкий, чёрный, без сахара, как учила бабушка. Обхватил кружку ладонями, грея остывшие за ночь пальцы. Смотрел на тетрадь, лежащую на столе.

Он мог уйти.

Мог закрыть бюро, накрыть его простынёй, выйти из квартиры, сесть в метро, доехать до Василеостровской, забыть этот сон, эту тетрадь, это имя на последней странице. Жить дальше. Писать монографии о железнодорожных тарифах. Читать лекции. Ходить в гости к Лене Голубцовой и обсуждать тайнопись древних летописей.

Он мог.

Он взял тетрадь, открыл на первой странице, где чётким, каллиграфическим почерком было выведено:

«Протокол №13. 7 ноября 1916 года. Псков, штаб Северного фронта, кабинет генерала Рузского. Присутствовали: генерал от инфантерии Рузский Н. В., генерал-адъютант Алексеев М. В. (по телефону), полковник Кузьмин-Караваев А. А. (протоколист)»

Ниже, после многоточия:

«Тема заседания: престолонаследие в условиях невозможности. Вопрос о состоянии здоровья Его Императорского Высочества государя наследника цесаревича и великого князя Алексея Николаевича. Конфиденциально. Совершенно секретно. Вскрыть в 2000 году»

Ниже, приписка от руки, уже не каллиграфическая, быстрая, почти неразборчивая:

«Сегодня я узнал то, что не должен был знать. Сегодня я стал соучастником. Господи, прости меня. Но я обещал записывать всё. И я запишу»

Михаил перевернул страницу.

И начал читать.

7 ноября 1916 года. Псков.

Генерал Рузский сидел в кресле с высокой спинкой, положив руки на подлокотники. Лицо у него было серое, землистое – сказались бессонные ночи. Алексеев говорил из Могилёва, голос его прерывался, искажался телефонными помехами, но смысл был ясен с первых слов.

– Мы не можем больше ждать, – сказал Алексеев. – Государь теряет волю. Императрица теряет разум. Распутин мёртв, но это ничего не изменило. Двор погружён в слухи, армия – в окопную тоску, Дума – в бесконечные речи. Единственное, что ещё держит империю, – это инерция. Но инерция кончится. Вопрос не в том, рухнет ли монархия. Вопрос в том, утянет ли она за собой Россию.

– Что вы предлагаете? – спросил Рузский.

– Я ничего не предлагаю. Я констатирую: у нас есть управленческая проблема. Государь не справляется. Нам нужен другой.

– Другой – кто?

Пауза.

– Великий князь Михаил Александрович. Или, в крайнем случае, Алексей Николаевич при регентстве.

– Ребёнок? – Рузский поднял бровь.

– Ребёнок, – подтвердил Алексеев. – Но регентство можно организовать. Важно, чтобы династия продолжилась, но управление перешло к ответственным людям.

– К ответственным людям, – медленно повторил Рузский. – То есть к нам.

– К нам, – сказал Алексеев. – К Думе. К генералитету. К тем, кто понимает, что войну нельзя выиграть с императором, который каждую неделю меняет министров по совету жены.

– А наследник?

– Что – наследник?

– Он болен, – сказал Рузский. – Тяжело. Неизлечимо. Вы это знаете.

– Знаю, – сказал Алексеев. – Но он – законный престолонаследник. И он – ребёнок.

Детьми управлять легче.

– Вы говорите страшные вещи, Михаил Васильевич.

– Я говорю правду, Николай Владимирович. Страшную, но правду.

Рузский молчал долго. Я видел, как пальцы его правой руки сжались в кулак, потом разжались. Он посмотрел на меня – протоколиста, стенографа, человека, который не имеет права голоса, но обязан записывать каждое слово.

– Запишите, – сказал он мне. – Запишите всё. Когда-нибудь это станет историей.

Я кивнул.

Перо скрипнуло по бумаге.

Я записал.

... Михаил поднял голову от тетради.

За окном светало. Дождь кончился, небо стало перламутровым, петербургским, бесконечным. Где-то внизу загредел мусоровоз – тот же самый, что и вчера, наверное, вечность назад.

Он посмотрел на часы – 7:43.

Вера Павловна просила приезжать утром.

Михаил закрыл тетрадь, положил её в портфель, застегнул молнию. Оглядел комнату – пыль, солнечный луч, бюро с открытым тайником, пустые ящики, венские стулья, шкаф с подшивками «Нивы», герань-скелет на подоконнике.

– Я вернусь, – сказал он вслух.

Квартира молчала.

Он вышел в прихожую, снял с вешалки пальто, надел, поправил шарф. На тумбочке всё так же лежала соломенная шляпа «Братя Бриллиантовы. Москва, Кузнецкий Мост».

Михаил взял её, повертел в руках, положил обратно.

– До свидания, Александр Александрович, – сказал он.

Вышел и повернул ключ в замке. Скрежет – и дверь закрылась.

На лестнице горела только одна лампочка из трёх. Он спускался медленно, держась за перила, и тетрадь лежала в его портфеле, тяжёлая, как все невысказанные признания всех мёртвых полковников всех исчезнувших империй.

На площадке первого этажа он остановился.

Зеркало в облупившейся раме висело на том же месте, что и вчера. Михаил посмотрел в него – и увидел своё лицо. Усталое, небритое, с красными от бессонницы глазами. Обычное лицо обычного человека, который нашёл то, что искал всю жизнь. И теперь боится. Он вышел на улицу. Хлопнула дверь подъезда.

В Петербурге начиналось утро.

ГЛАВА 2. Тринадцатый протокол

2026. Санкт-Петербург

Вера Павловна жила на Васильевском острове, в доме, построенном ещё при Александре Втором, – с широкой парадной лестницей, выщербленной миллионами подошв, и лифтом, который не работал с 1970-х. Михаил поднялся на четвёртый этаж пешком, останавливаясь на каждой площадке: не столько от одышки, сколько от желания оттянуть момент.

Дверь открылась до звонка.

Вера Павловна стояла на пороге – маленькая, сухая, в шерстяной кофте поверх шёлкового платья неопределимого возраста. Седина её была не белая, а сиреневатая, как иней на старом серебре. Очки в тонкой металлической оправе сидели на кончике носа.

– Опоздали, – сказала она. – Я ждала вас к девяти, а уже без двадцати десять.

– Извините, – сказал Михаил. – Метро...

– Метро не опаздывает, это вы опаздываете. Давайте сюда.

Она протянула руку, и Михаил, словно школьник, послушно вложил в неё портфель. Вера Павловна открыла защёлки, извлекла тетрадь, прищурилась.

– Та самая?

– Да.

– Ждите.

Она ушла в комнату, прикрыв дверь. Михаил остался в прихожей – узкой, как пенал, с вешалкой, набитой пальто, и запахом старой бумаги, который здесь был сильнее, чем в бабушкиной квартире.

Он простоял сорок минут.

Иногда из-за двери доносился шелест страниц, иногда – стук клавиш (она печатала на машинке, механической, с круглым чугунным корпусом). Иногда – долгое, напряжённое молчание.

Вера Павловна вышла ровно в десять тридцать, держа в руках стопку машинописных листов.

– Садитесь, – сказала она. – В комнату. Не в кухню.

Комната была похожа на архив: стеллажи до потолка, забитые папками, картотечные ящики, кипы журналов на полу. Единственное окно занавешено тюлем, от чего свет казался аквариумным. В центре – массивный письменный стол, на котором теснились лампа с зелёным абажуром, пишущая машинка «Рейнметалл» 1927 года и раскрытая тетрадь.

Михаил сел на стул, обитый потёртым плюшем. Вера Павловна опустила в кресло с высокой спинкой, положила перед ним расшифрованные листы.

– Я сделала, что могла, – сказала она. – Часть текста не поддаётся. Ваш прадед использовал личную систему сокращений, кое-где я только гадаю. Но основное – вот.

– Что там? – спросил Михаил.

– Читайте. Сначала – сами. Потом поговорим.

Он взял верхний лист.

«Протокол №1. 15 октября 1915 года. Петроград, квартира генерала Поливанова. Присутствовали:...»

Список фамилий он уже видел в тетради. Но теперь, напечатанные на машинке, чётким шрифтом «ундервуда», они выглядели иначе. Документально. Неопровержимо.

«...генерал от инфантерии Алексеев М. В., генерал от кавалерии Рузский Н. В., председатель Государственной думы Родзянко М. В., член Государственного совета Гучков А. И., великий князь Николай Николаевич, великий князь Александр Михайлович...»

– Их было тринадцать, – сказала Вера Павловна. – Я сверила. На каждом протоколе – разное количество подписей, но постоянный костяк. Тринадцать человек.

Михаил перевернул страницу.

«Протокол №2. 3 ноября 1915 года. Петроград, особняк князя Андроникова».

«Протокол №3. 12 декабря 1915 года. Псков, штаб Северного фронта».

«Протокол №4. 18 января 1916 года. Могилёв, Ставка».

«...»

«Протокол №13. 5 декабря 1916 года. Псков, штаб Северного фронта».

Михаил остановился.

– Тринадцатый, – сказал он. – Почему именно тринадцатый?

– Прочитайте, – сказала Вера Павловна. – Там всё написано.

Он читал.

«Присутствовали: генерал Рузский, генерал Алексеев (по телефону), полковник Кузьмин-Караваев (протоколист), приглашённый: профессор Вреден Р. Р., ординарный профессор Императорской военно-медицинской академии, консультант по болезням крови»

Дальше шли строки, от которых у Михаила похолодело внутри.

«Рузский: Роман Романович, мы пригласили вас как специалиста высочайшего уровня. Вопрос касается... деликатного обстоятельства. Вы наблюдали государя наследника?»

Вреден: Я входил в консилиум в 1912 году. После Спалы.

Рузский: Диагноз не вызывает сомнений?

Вреден: Диагноз – да. Гемофилия. Классическая картина. Кровоизлияния в суставы, длительные кровотечения при травмах. Всё это...

Рузский: Я не об этом, Роман Романович. Я о другом. Есть ли у вас основания полагать, что... состояние наследника... не ограничивается физиологией?

Пауза.

Вреден: Я не понимаю вопроса.

Рузский: Понимаете. Вы видели его. Вы разговаривали с ним. Что вы можете сказать о его... психическом развитии?

Вреден: Алексей Николаевич – очень развитый, впечатлительный ребёнок. Высокий интеллект, хорошая память. Но...

Рузский: Но?

Вреден: У него странные глаза. Иногда кажется, что он смотрит сквозь человека. И говорит иногда такое...

Рузский: Такое?

Вреден: В 1912 году, когда он лежал при смерти, я сидел у его постели. Он открыл глаза и сказал: «Вы боитесь, профессор. Вы думаете, я умру. Но я не умру. Папа умрёт раньше». Я спросил, откуда он знает. Он ответил: «Я вижу».

Рузский: И что?

Вреден: Государь умер в 1918-м. Алексей – в 1918-м. Но тогда, в 1912-м, об этом никто не мог знать.

Рузский: Вы верите в предсказания?

Вреден: Я верю в клинические наблюдения. Мальчик знает то, чего знать не должен. Откуда – не могу объяснить»

Михаил оторвал взгляд от бумаги.

– Это же... – он запнулся. – Бред какой-то.

– Бред? – Вера Павловна поправила очки. – Профессор Вреден – крупнейший гематолог своего времени. Он не был склонен к мистике. Если он сказал это, значит, он действительно наблюдал нечто, не поддающееся рациональному объяснению.

– Но это не доказательство.

– Это стенограмма заседания тайного общества. Они не собирались публиковать эти протоколы. Они записывали для себя. Зачем им выдумывать?

Михаил молчал.

– Читайте дальше, – сказала Вера Павловна.

Он читал.

«Рузский: Допустим, это так. Но нас волнует не его... способность. Нас волнует, что будет, если он взойдёт на престол. Мальчик, который знает будущее. Мальчик, который видит ложь. Мальчик, который никому не прощает обмана. Вы понимаете, что это значит для... для многих?»

Вреден: Вы говорите о политике. Я врач.

Рузский: Я говорю о выживании династии. Если Алексей Николаевич станет императором – сможет ли он управлять?

Вреден: Физически? С его болезнью – вряд ли долго. Психологически? Я не знаю. Такой дар – или проклятие – может сломать любого. Даже взрослого. А он ребёнок.

Рузский: Значит, его нельзя допустить до власти.

Вреден: Я этого не говорил.

Рузский: Вы сказали достаточно»

Михаил отложил листы.

– Они собирались... что? Убить ребёнка?

– Нет, – сказала Вера Павловна. – Читайте дальше. Они не убийцы. Они – заговорщики. Это разные вещи. Убийцы действуют руками. Заговорщики – словами.

Он читал.

«Алексеев (по телефону): Никто не предлагает физического устранения. Это невозможно и бессмысленно. Но есть другие способы. Отречение государя в пользу брата. Регентство. Династический кризис можно направить в нужное русло.

Рузский: Вы предлагаете отстранить не только Николая Александровича, но и Алексея?

Алексеев: Я предлагаю отстранить проблему. Николай – проблема сейчас. Алексей – проблема завтра. Если мы решим одну, но оставим другую, через несколько лет мы вернёмся к тому же.

Рузский: Михаил Александрович?

Алексеев: Великий князь – взрослый человек, без таких... особенностей. Он неудобен? Возможно. Но он безопасен.

Рузский: Вы говорите о престолонаследии как о кадровой перестановке.

Алексеев: Потому что это и есть кадровая перестановка. Государь – менеджер. Плохой менеджер. Мы его меняем. Всё.

Рузский: А Основные законы?

Алексеев: Основные законы можно обойти. Отречение за наследника юридически ничтожно, но кто будет это оспаривать в момент кризиса? Главное – создать факт. А факты, как известно, – самая упрямая вещь на свете»

Михаил откинулся на спинку стула.

– Они планировали отречение за полтора года до февраля, – сказал он. – Не спонтанно. Не под давлением улиц. Это была операция.

– Да, – сказала Вера Павловна. – Операция «Псков». Они готовили её с 1915-го.

– И мой прадед...

– Ваш прадед был протоколистом. Он записывал. Не участвовал, не предлагал, не голосовал. Но он знал. И молчал.

Михаил посмотрел на стопку расшифрованных листов. Их было около тридцати.

– А дальше? – спросил он. – Есть ещё протоколы?

– Есть, – сказала Вера Павловна. – До февраля 1917-го. Потом записи становятся хаотичными, стенография сменяется обычным письмом. Почерк нервный, торопливый. И потом – резкий обрыв. Последняя дата – 2 марта 1918 года. За четыре месяца до расстрела.

– О чём последний протокол?

– Не протокол. Просто запись. Одна фраза. – Вера Павловна протянула ему последний лист. – Я не уверена в расшифровке. Почерк почти нечитаем. Но кажется, там написано: «Он жив. Я не знаю как. Но он жив»».

... Российский государственный исторический архив находился на Заневском проспекте – серая громада, внутри которой хранилась память империи. Михаил бывал здесь сотни раз, знал расположение фондов, расписание читальных залов, лица постоянных сотрудников.

Но сегодня он пришёл не с официальным запросом.

Ирина Леонидовна, заведующая отделом фондов императорской канцелярии, работала здесь сорок семь лет. Она видела документы, которых никто не видел, и помнила то, что уже давно вычеркнуто из описей. У неё была репутация человека, который скорее умрёт, чем выдаст тайну, но если уж выдаст – то только правду.

– Михаил Александрович, – сказала она, не поднимая головы от картотеки. – Опять по своим железным дорогам?

– Нет, – сказал Михаил. – По семейным.

Ирина Леонидовна подняла глаза.

– Что-то нашли?

– Дневник прадеда. 1916—1918. Там упоминаются люди, организации, заседания... Я хочу проверить, сохранились ли в фондах документы, которые могут подтвердить или опровергнуть его записи.

– Фамилия?

– Кузьмин-Караваев, полковник. Александр Александрович. Штаб Северного фронта, 1915—1917.

Ирина Леонидовна постучала пальцем по столу.

– Канцелярия Рузского? Мы передавали их дела в 1920-е в Особый архив. Потом часть вернули, часть осталась в Москве. Надо смотреть.

– Я ищу не его документы. Я ищу документы организации, которая собиралась на квартире генерала Поливанова в 1915—1917 годах.

– Организации?

– Тайного общества. Тринадцать человек. Военные, думцы, великие князья.

Ирина Леонидовна посмотрела на него долгим, изучающим взглядом.

– Вы понимаете, как это звучит?

– Понимаю. Тем не менее.

Она вздохнула, поднялась, подошла к шкафу с картотекой. Зашелестела карточками.

– Поливанов... Поливанов... Алексей Андреевич? Военный министр до 1916-го. Его фонд у нас частично, частично в ГАРФе. Опись смотрели?

– Нет.

– Смотрите. Фонд 366, опись 2, дело 178 – переписка с великими князьями. Опись 3, дело 92 – дневниковые записи. Но никаких тайных обществ там нет.

– А протоколы? Заседания, совещания?

– Михаил Александрович, – Ирина Леонидовна повернулась к нему. – Если бы в фондах РГИА хранились протоколы заговора против Николая Второго, мы бы об этом знали. Это же сенсация. Это перевернуло бы всю историографию февраля. Таких документов в фондах нет.

– Вы уверены?

– Я работаю здесь с 1979 года. Я знаю каждый сантиметр этих полок. Если бы там что-то было – я бы знала.

Пауза.

– Но, – сказала она тихо, – есть один нюанс.

– Какой?

– В 1918-м, когда большевики национализировали архивы, много документов исчезло. Не сгорело, не уничтожено – именно исчезло. Кто-то вывозил целые фонды, прятал в особняках, на дачах, в иностранных посольствах. Потом, в 1920-е, часть вернули, но не всю. Некоторые бумаги до сих пор лежат в частных собраниях.

– Или в семейных тайниках, – сказал Михаил.

– Или в семейных тайниках, – согласилась Ирина Леонидовна. – Вы что-то нашли?

Михаил помолчал.

– Я не знаю, – сказал он. – Может быть.

Она не стала переспрашивать.

– Есть ещё кое-что, – сказала она. – В 1991-м, когда открылись спецхраны, мы получили доступ к документам из так называемого «Архива Президента». Там были материалы Следственной комиссии Керенского, переписка Николая и Александры, дневники дворцового коменданта. И среди всего этого – папка без описи.

– Что в ней?

– Мы не знаем. Папка была засекречена и передана обратно. Якобы там документы, касающиеся личной жизни императорской семьи. Но ходили слухи...

– Какие слухи?

– Что там что-то о наследнике. Какая-то медицинская тайна. Или не медицинская.

Она посмотрела на Михаила в упор.

– Вы ведь поэтому пришли? Не из-за заговора. Из-за мальчика.

Михаил не ответил.

– Будьте осторожны, – сказала Ирина Леонидовна. – Некоторые тайны хранят не потому, что они опасны. А потому, что в них невозможно поверить.

... Он вернулся в бабушкину квартиру к вечеру.

Тетрадь лежала на столе, рядом – расшифровки Веры Павловны. Михаил включил настольную лампу – старого образца, с керамическим цоколем и шёлковым абажуром, – и продолжил читать с того места, где остановился.

«Протокол №14. 17 декабря 1916 года. Псков, штаб Северного фронта».

Присутствуют: Рузский, Кузьмин-Караваев, великий князь Александр Михайлович (специально прибыл из Киева).

Александр Михайлович: Я только что из Царского. Видел Ники и Ал. Ситуация хуже, чем мы думаем.

Рузский: В каком смысле?

Александр Михайлович: Императрица полностью под влиянием Вырубовой и этих... проходимцев. Она убеждена, что вокруг заговор, что все хотят свергнуть её сына. Она никого не слушает.

Рузский: А государь?

Александр Михайлович: Государь слушает её. И молчит. Он устал. Он хочет покоя. Если бы ему предложили отречься завтра, он бы, наверное, согласился. Но при одном условии.

Рузский: Каким?

Александр Михайлович: Чтобы Алексей остался с ним. Чтобы семья была вместе. Он не отдаст мальчика.

Рузский: А мальчик?

Александр Михайлович: Что – мальчик?

Рузский: Он понимает, что происходит?

Александр Михайлович: Он всё понимает. Он вообще слишком много понимает для своего возраста. Вчера, когда я прощался, он взял меня за руку и сказал: «Дядя Сандро, вы скоро уедете и больше не вернётесь. Я знаю. Но вы не бойтесь. Я никому не расскажу». Я спросил: «Что не расскажешь?». Он посмотрел на меня своими странными глазами и сказал: «Что вы приходили уговаривать папу».

Пауза.

Рузский: И что вы ответили?

Александр Михайлович: Я ничего не ответил. Я уехал. И всю дорогу думал: откуда он знает? Я не говорил ему ни слова. Никто не говорил. Но он знает.

Рузский: Вы верите, что он может... читать мысли?

Александр Михайлович: Я не знаю, во что верить. Но мальчик знает то, чего знать не должен. Это факт. И если это правда – мы все в опасности.

Рузский: Вы преувеличиваете.

Александр Михайлович: Ничуть. Представьте, что через пять, десять, пятнадцать лет этот мальчик станет императором. И он будет помнить каждого, кто хотел отнять у него отца. Каждое слово. Каждый взгляд. Каждое предательство. Вы готовы жить под властью человека, который знает о вас всё?

Молчание.

Рузский: Что вы предлагаете?

Александр Михайлович: Я ничего не предлагаю. Я констатирую: мы создали проблему, которую не можем решить. Мы хотели убрать слабого императора. Но мы не учли наследника. И теперь наследник – большая угроза, чем император.

Рузский: Угроза для кого?

Александр Михайлович: Для всех. Для династии. Для России. Для себя»

Михаил отложил листы.

За окном стемнело. В комнате было тихо, только шипела лампа да изредка поскрипывало старое бюро – словно дерево дышало.

Он посмотрел на портрет, висевший над столом. Бабушка поставила его сюда много лет назад, объяснив: «Это прадед в 1916-м. Единственная хорошая фотография».

Полковник Кузьмин-Караваев смотрел в объектив устало, чуть исподлобья. Усы подстрижены по форме, мундир застёгнут на все пуговицы, на груди – орден Святого Владимира с мечами. Обычное лицо обычного штабного офицера, каких были тысячи.

Но глаза...

В глазах стоял страх.

Не тот страх, который бывает перед боем или перед разносом начальства. Другой. Холодный, давний, привычный – как болезнь, с которой научился жить, но от которой невозможно излечиться.

Михаил смотрел на прадеда, и прадед смотрел на него.

– Что ты знал? – спросил Михаил вслух. – И почему не записал самое главное?

Прадед молчал.

Фотография молчала.

Только шипела лампа да скрипело бюро.

Михаил перечитал все протоколы за 1915—1916 годы.

Сначала – по диагонали, выхватывая ключевые фразы. Потом – внимательно, строчка за строчкой, пытаюсь понять логику заговорщиков.

И постепенно перед ним начала складываться картина.

Она отличалась от всего, что он знал об истории Февральской революции.

В учебниках писали: «Недовольство политикой Николая Второго охватило все слои общества. Либеральная оппозиция требовала ответственного министерства. Генералитет считал, что император не способен командовать армией. Династия была обеспокоена влиянием Распутина».

Всё это было правдой.

Но была и другая правда, которая в учебники не попала.

Недовольство Николаем было лишь верхним слоем. Под ним скрывался другой страх – более глубокий, более иррациональный, более страшный.

Страх перед мальчиком.

Перед ребёнком, который знал будущее. Который видел ложь. Который однажды, став императором, мог припомнить каждому его слова, взгляды, поступки.

– Они не свергали царя, – сказал Михаил вслух. – Они спасали себя от его сына.

Тишина.

– Господи, – выдохнул он. – Они ведь не заговорщики. Они – трусы.

Он вспомнил фразу из протокола №13: «Мальчик знает то, чего знать не должен».

Не должен. Для кого не должен? Для них.

Они боялись не за Россию. Они боялись за свои карьеры, свои имения, свои жизни. Они увидели в двенадцатилетнем ребёнке угрозу своему благополучию – и решили эту угрозу устранить.

Не убивая. Нет. Они же цивилизованные люди.

Просто отстранив. Просто лишив престола. Просто сделав так, чтобы мальчик никогда не стал императором.

А потом – случайно, по цепочке событий, которые они сами запустили, – мальчик и его семья оказались в подвале Ипатьевского дома.

И никто из них не пришёл на помощь.

Ни Рузский. Ни Алексеев. Ни великий князь Александр Михайлович, который знал и молчал.

Ни полковник Кузьмин-Караваев, который всё записывал.

Михаил закрыл тетрадь.

У него дрожали руки.

... Он не мог заснуть.

Ворочался, сбивал одеяло, вставал пить воду, снова ложился. Мысли крутились по замкнутому кругу: заговор, мальчик, протоколы, прадед, глаза Алексея на портрете.

В три часа ночи он включил свет и открыл ноутбук.

«Цесаревич Алексей Николаевич. Способности. Дар предвидения. Исторические свидетельства».

Поиск выдал тысячи ссылок: жития святых, конспирологические форумы, сайты поклонников монархии. Ничего серьёзного. Ни одного академического исследования.

Он уточнил запрос:

«Профессор Вреден Роман Романович. Воспоминания. Мемуары».

Нашлось.

Вреден умер в эмиграции в 1934 году, оставил двухтомник воспоминаний «Сорок лет у постели больного». Михаил нашёл электронную копию, открыл оглавление. Глава 18 – «Болезнь наследника». Глава 22 – «Последние годы империи».

Он пролистал до главы 18.

Вреден писал сухо, медицински точно: симптомы, рецидивы, методы лечения. Никакой мистики. Никаких «странных глаз». Только факты.

Но в конце главы, в примечании, мелким шрифтом было добавлено:

«Некоторые обстоятельства болезни Алексея Николаевича не поддаются рациональному объяснению. Я не считаю возможным предавать их гласности, тем более что они могут быть неверно истолкованы. Скажу лишь: природа иногда создаёт исключения, которые наука не в силах объяснить. Возможно, к лучшему, что этот ребёнок не стал императором»

Михаил захлопнул ноутбук.

В комнате было темно. За окном шумел ветер, качал фонарь, тени метались по потолку. Он лежал с открытыми глазами до самого утра.

... Утром он позвонил матери.

– Мам, ты помнишь, что бабушка рассказывала о прадеде?

– А что именно?

– Любые фразы, которые она запомнила. Он ведь умер, когда она была маленькой?

– Да, ей было шесть лет. Но она говорила, что помнит его хорошо. Он был очень тихий, очень грустный. Почти всё время сидел в кресле у окна и смотрел на снег.

– На снег?

– Да. Даже летом. Она говорила: «Дедушка смотрит в окно, а там дождь, а он всё равно называет это снегом». Мы думали, у него старческий маразм, но ему было всего шестьдесят.

– А ещё что-нибудь?

– Ну... она рассказывала, что однажды спросила его, почему он такой грустный. И он ответил: «Я видел, как умирает империя, и ничего не сделал». Она не поняла, ей было шесть лет. А потом, уже взрослой, вспоминала эту фразу и плакала.

– Ещё, – сказал Михаил. – Что-нибудь ещё.

– Была одна фраза, которую она повторяла постоянно. Я её даже записала когда-то. Сейчас поищу.

В трубке зашуршало. Через минуту мать вернулась:

– Вот: «Царя убили не в 1918. Царя убили в 1916. Остальное – последствия». Она говорила, что дед повторял это каждый год 2 марта. День отречения.

Михаил закрыл глаза.

– Спасибо, мам.

– Ты нашёл что-то?

– Кажется, да.

– Это опасно?

– Не знаю.

– Будь осторожен, – сказала мать. – Твой прадед был умным человеком. Если он молчал семьдесят лет – значит, у него были причины.

– Или были причины бояться, – сказал Михаил.

– Или были причины бояться, – согласилась мать.

... Он составил список.

Тринадцать имён из протоколов. Генералы, думцы, великие князья. К 2026 году все они давно умерли, но у многих остались потомки.

Михаил начал с самых простых.

Родзянко. Внук председателя Думы, Михаил Михайлович, жил в Париже, держал антикварный магазин на бульваре Сен-Жермен. Михаил написал ему на электронную почту, представился, кратко изложил суть. Ответ пришёл через час:

«Милостивый государь, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Мой дед никогда не обсуждал события 1917 года с семьёй. Все его бумаги были переданы в Гуверовский архив в 1950-е годы. Там вы можете ознакомиться с ними. С уважением, М. Родзянко»

Гучков. Правнук, Александр Гучков-младший, жил в Лондоне, работал инвестиционным банкиром. Ответ был ещё короче: «Без комментариев».

Великий князь Александр Михайлович. Его правнук, Алексей Андреевич Романов, жил в Копенгагене, занимался благотворительностью. Михаил нашёл его через сайт Объединения членов рода Романовых, отправил письмо.

Ответа не было ни через день, ни через два, ни через неделю.

Генерал Рузский. Потомков не осталось – единственный сын умер в 1919-м от тифа, жена расстреляна большевиками в 1918-м.

Генерал Алексеев. Сын умер в эмиграции бездетным.

Остальные фамилии – Поливанов, Данилов, Клембовский – тоже не дали результата. Кто-то умер в Гражданскую, кто-то исчез в лагерях, кто-то растворился в эмиграции, не оставив следов.

Михаил сидел перед ноутбуком, смотрел на пустые ответы и понимал: ниточка обрывается.

Остался только он.

И тетрадь.

...На четвёртый день он решился.

Архив ФСБ на Литейном проспекте, 4 – здание, которое внушало трепет даже спустя тридцать пять лет после смены вывески. Михаил никогда здесь не был, но знал процедуру: письменный запрос, обоснование, ожидание.

Он подготовил всё по правилам: тема исследования, научная необходимость, ссылки на публикации. В графе «предполагаемые документы» написал: «Материалы Следственного дела №18/1234567 (Николай Романов и члены его семьи). Копии медицинских заключений о состоянии здоровья цесаревича Алексея Николаевича за 1912—1918 годы».

Отправил заказным письмом с уведомлением.

Ответ пришёл через две недели.

«Уважаемый Михаил Александрович! Ваш запрос рассмотрен. Сообщаем, что запрашиваемые вами документы находятся на хранении в Центральном архиве ФСБ России и имеют гриф „Секретно“. В соответствии с Федеральным законом №5485—1 „О государственной тайне“, рассекречивание данных материалов не производилось. В предоставлении доступа отказано. Основание: п. 4 ст. 5 Перечня сведений, отнесённых к государственной тайне»

Михаил перечитал ответ три раза.

Не «не найдены». Не «утрачены». А «имеют гриф „Секретно“».

Значит, они существуют.

Значит, в этих медицинских заключениях есть что-то, что государство – уже другое, не имперское, не советское, а нынешнее, 2026 года – считает нужным скрывать.

Значит, профессор Вреден записал не всё.

Значит, мальчик действительно знал то, чего знать не должен.

В тот же вечер он поехал в музей.

Государственный музей политической истории России – особняк Кшесинской, где когда-то размещался штаб большевиков, а теперь – экспозиция, посвящённая трём русским революциям. Михаил бывал здесь десятки раз, но никогда – с такой целью.

В зале, посвящённом Николаю Второму, висел портрет цесаревича Алексея.

Фотография 1914 года, раскрашенная вручную. Мальчик в матросском костюмчике, с якорем на воротнике, сидит в кресле, положив руки на подлокотники. Светлые волосы зачёсаны набок, лицо серьёзное, недетское.

Глаза.

Михаил смотрел в эти глаза и не мог отвести взгляд.

Они были очень светлые, почти прозрачные, с необычным разрезом – чуть раскосые, что придавало лицу выражение постоянного внимания, постоянного вопроса. И в них действительно было что-то странное.

Не мистическое. Не сверхъестественное.

Просто – глубина. Слишком большая для ребёнка.

Взгляд человека, который видел больше, чем должен видеть в двенадцать лет. Который знал больше, чем ему положено знать. Который понимал, что вокруг него плетутся сети, что близкие люди лгут, что будущее, которое ему уготовано, – не царство, а мученичество.

Михаил стоял перед портретом, и мальчик смотрел на него.

– Ты знал, – сказал Михаил шёпотом. – Ты знал, что они тебя боятся. Ты знал, что отец отречётся. Ты знал, что случится в подвале. Ты знал всё.

Мальчик молчал.

Вокруг ходили посетители, щёлкали фотоаппаратами, переговаривались. Кто-то спросил: «Это тот, которого расстреляли?» Кто-то ответил: «Да, вместе со всей семьёй».

Михаил не слышал их.

Он смотрел в глаза цесаревича Алексея и думал: если он знал будущее, то знал и то, что его ждёт. Знал – и не пытался бежать. Не просил отца отказаться от престола раньше. Не проклинал заговорщиков.

Он просто ждал.

Сто лет.

И сейчас, глядя на этот портрет, Михаил вдруг понял, что мальчик всё ещё ждёт.

Ждёт, когда кто-то прочитает протоколы.

Ждёт, когда кто-то поймёт, что на самом деле произошло в 1917-м.

Ждёт, когда кто-то произнесёт вслух его имя.

– Я прочитаю, – сказал Михаил. – Я всё прочитаю. И я найду правду. Обещаю.

Мальчик на портрете не ответил.

Но Михаилу показалось, что уголки его губ чуть дрогнули.

Или это была игра света?

Он вышел из музея, когда уже стемнело. Невский сиял огнями, туристы спешили в «Елисеевский», молодёжь тусовалась у станции метро. Обычный вечер в обычном городе.

Михаил шёл медленно, держа в руках телефон с фотографией портрета.

Ему нужно было в архивы. В библиотеки. В бабушкину квартиру, где на столе лежала тетрадь с нерасшифрованными страницами.

Ему нужно было узнать всё.

Потому что теперь он понимал: заговор против императора был только началом.

Настоящая тайна была в другом.

В мальчике, который знал будущее.

И в том, что это будущее – вопреки всем протоколам, всем приговорам, всем расстрельным стенам – ещё не закончилось.

ГЛАВА 3. Дневник Кузьмина – Караваева

Ноябрь 1916. Канцелярия. Псков, штаб Северного фронта

Полковник Александр Александрович Кузьмин-Караваев вошёл в здание штаба Северного фронта в 7:43 утра, как делал это каждый день вот уже четырнадцать месяцев.

Часовой у входа козырнул. Полковник кивнул – коротко, сухо, без лишних движений. Шинель на вешалку, фуражка на крючок, пальцы на мгновение задержались на козырьке – привычка, оставшаяся с Академии Генштаба, где старый генерал Леер требовал: «Прежде чем войти в кабинет, поправьте фуражку. Император может не увидеть вашего лица, но он увидит, как вы носите форму».

Император был за тысячу вёрст, в Могилёве. Но привычка осталась.

Канцелярия помещалась в трёх смежных комнатах на втором этаже, с окнами, выходящими на площадь перед вокзалом. В первой, самой большой, сидели шифровальщики – трое штабс-капитанов с лицами людей, привыкших к тайне. Их пальцы порхали над клавишами телеграфных аппаратов Юза, и тонкая бумажная лента выползала из щелей, испещрённая рядами цифр.

Запах здесь был особенный, канцелярско-военный: смесь махорки, чернил, озокерита (им смазывали телеграфные ленты) и обязательного утреннего кофе, который варил лично писарь Ляшенко на керосинке в углу.

– Полковнику – без сахара, с цикорием, – сказал Ляшенко, не оборачиваясь.

Кузьмин-Караваев взял жестяную кружку, обжёг пальцы, поставил на стол. Кофе был жидкий, горький, с привкусом жести – но горячий.

За окном сеял мелкий, противный дождь пополам с мокрым снегом. Ноябрь в Пскове выдался серый, бессолнечный, похожий на бесконечные сумерки.

– Сводка от генерала Алексеева, – доложил штабс-капитан Смирнов, не отрываясь от аппарата. – Ночная. Пришла в пять сорок.

– Давайте.

Смирнов протянул ленту. Кузьмин-Караваев надел пенсне – без него мелкие цифры расплывались, – пробежал глазами колонки.

Обычная рутина. Состояние войск. Расход снарядов. Просьба ускорить поставки тёплых вещей. И в конце, после служебной части, – приписка, зашифрованная личным кодом Алексеева.

Такие приписки всегда означали одно: то, что нельзя доверить обычной связи.

Кузьмин-Караваев достал из внутреннего кармана мундира маленькую чёрную книжечку – личный шифровальный блокнот, – и начал расшифровывать.

«Лично генералу Рузскому. Совершенно секретно».

Дальше шёл текст.

Кузьмин-Караваев прочитал его один раз. Потом – второй.

Потом снял пенсне, протёр стёкла замшей, надел снова и прочитал в третий раз.

«Государь устал. Может быть, нам стоит подумать о том, кто заменит его на время войны?»

Он аккуратно сложил ленту вчетверо, положил в кожаный портфель.

– Спасибо, Смирнов.

– Не за что, Александр Александрович.

Кофе остыл.

... В девять часов утра Кузьмин-Караваев постучал в дверь кабинета генерала Рузского.

– Войдите.

Николай Владимирович Рузский сидел за огромным столом красного дерева, заваленным картами и докладами. Генерал от инфантерии, командующий Северным фронтом, человек, чьё имя через три месяца войдёт в каждую газету мира, выглядел усталым. Под глазами – синева, у рта – глубокие складки, словно он всё время сдерживает слово, которое готово сорваться с губ.

– Что у вас, полковник?

– Шифровка от генерала Алексеева. Лично вам.

Рузский взял ленту, надел очки в черепаховой оправе. Читал долго, молча, дважды перечитал последнюю фразу.

Потом поднял глаза на Кузьмина-Караваева.

– Вы расшифровали?

– Так точно.

– И что вы думаете?

Вопрос был нарушением всех неписаных правил штабной субординации. Начальник не спрашивает мнение подчинённого о политических материях. Тем более таких.

Кузьмин-Караваев помедлил.

– Я думаю, ваше превосходительство, что генерал Алексеев озабочен состоянием дел в Ставке.

– Озабочен, – повторил Рузский. – Хорошее слово. Дипломатичное.

Он снял очки, отложил ленту в сторону.

– А как вы думаете, полковник, что на самом деле хотел сказать Михаил Васильевич?

Кузьмин-Караваев молчал. Он знал, что ответить – значит переступить черту. Промолчать – значит проявить нелояльность. Выбрать нейтральный ответ – значит солгать генералу, которому присягал.

Он выбрал правду.

– Я думаю, ваше превосходительство, что генерал Алексеев предлагает вам обсудить вопрос о престолонаследии.

Рузский посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом.

– Садитесь, полковник.

Кузьмин-Караваев сел на краешек стула.

– Вы знаете, – сказал Рузский, глядя в окно, – когда я принимал Северный фронт, государь сказал мне: «Николай Владимирович, я надеюсь на вас как на самого себя». Это было три года назад. Тогда я верил, что мы выиграем войну к Рождеству.

Он помолчал.

– Теперь я верю только в то, что война кончится когда-нибудь. А государь... государь устал. Это правда. Я вижу это по его докладам, по его резолюциям, по его глазам на последней встрече в Ставке.

– И что делать? – спросил Кузьмин-Караваев.

Рузский посмотрел на ленту.

– Не знаю, – сказал он. – Но Михаил Васильевич, кажется, знает.

Он протянул ленту обратно.

– Положите в сейф. Литер «А». И никому ни слова.

– Слушаюсь.

Кузьмин-Караваев взял ленту, встал, направился к двери.

– Полковник.

– Да?

– Вы ведёте дневник?

Кузьмин-Караваев замер.

– Служебный, ваше превосходительство. Протоколы совещаний, распоряжения...

– Я не о служебном, – перебил Рузский. – Личный. Вы записываете свои мысли?

Пауза.

– Иногда, – сказал Кузьмин-Караваев.

– Продолжайте, – сказал Рузский. – Когда-нибудь это пригодится.

Он снова уткнулся в карты.

Аудиенция окончена.

В час дня Кузьмин-Караваев спустился в офицерскую столовую.

Здесь было натоплено, пахло щами и гречневой кашей. За длинным столом, накрытым казённой скатертью с пятнами от пролитого чая, сидели человек десять – штабные офицеры, адъютанты, парочка интендантов.

Разговор, как всегда в последнее время, крутился вокруг одного.

– Убили-таки, – сказал капитан Зверев, накладывая себе каши. – 17 декабря, в доме Юсупова. Пулей, ножом и в прорубь. Для верности.

– Кто? – спросил молоденький поручик, только что из училища.

– Кто-кто... Великий князь Дмитрий Павлович, Юсупов, Пуришкевич. Компания.

– И что теперь будет?

Зверев хмыкнул.

– Ничего не будет. Государь выслал Дмитрия Павловича в Персию, Юсупова – в имение. Пуришкевича даже не тронули. Всё.

– А императрица?

– Императрица, говорят, в истерике. Это ж её «святой старец».

Кузьмин-Караваев молчал, помешивая ложкой щи.

– А вы что думаете, Александр Александрович? – обратился к нему Зверев.

– Я думаю, – медленно сказал Кузьмин-Караваев, – что убийство – не метод решения политических вопросов.

– А какой метод? – вмешался сидевший в углу подполковник Дружинин, старый служака, потерявший на войне сына. – Ждать, пока этот проходимец совсем развалит династию? Вы видели, что творится в Петрограде? Министры меняются как перчатки. Штюрмер, Трепов – кто следующий? Говорят, Протопопов министром внутренних дел станет. Протопопов! Сумасшедший дом.

– Алексеев в Ставке, – тихо сказал кто-то, – тоже, говорят, недоволен.

– Алексеев – солдат, – отрезал Дружинин. – Он своё дело знает. А вот что в Могилёве делается...

Он не договорил. Все понимали, что значит «в Могилёве». Ставка. Государь.

Кузьмин-Караваев доел щи, промокнул губы салфеткой.

– Господа, – сказал он спокойно, – мы говорим о вещах, которые не положено обсуждать за обедом.

– А где их положено обсуждать? – усмехнулся Зверев. – В Думе? Там уже полгода только и делают, что обсуждают.

– В Думе – одно, – сказал Кузьмин-Караваев. – Здесь – другое. Мы – штаб Северного фронта. Мы обеспечиваем армию. Мы не политики.

– А кто мы? – спросил Дружинин.

Кузьмин-Караваев не ответил.

Он вышел из столовой, когда разговор перешёл на поставки патронов.

В три часа дня он попросил коммутатор соединить с Петроградом.

Ждали долго – линия была перегружена. Наконец в трубке щёлкнуло, зашуршало, и далёкий, искажённый помехами голос произнёс:

– Аллю? Саша? Ты?

– Я, Лизонька. Как ты?

– Холодно, – сказала жена. – Уголь кончился, дрова дорогие, в квартире восемь градусов. Сплю в пальто.

– Купи дров, я перевёл деньги...

– Купила. Но это же не надолго. Саша, когда ты приедешь?

Он помолчал. Работа. Война. Обстоятельства. Слова, которые ничего не значат.

– Скоро, – сказал он. – На Рождество отпрошусь.

– Ты каждый год обещаешь на Рождество.

– В этот раз точно.

Пауза. В трубке трещало, голос жены то приближался, то удалялся.

– Саша, – сказала она тихо. – Тут такое творится. Очереди за хлебом с ночи стоят. На Невском стреляли. Керенский в Думе говорит, что правительство – изменники. А в Царском...

– Что в Царском?

– Говорят, наследник опять заболел. Не выходит из комнат. Императрица никого не принимает. Саша, я боюсь.

– Чего ты боишься?

– Сама не знаю. Всего. Этой зимы. Этого холода. Того, что ты там, а я здесь, и мы ничего не можем изменить.

– Лизонька...

– Ты только приезжай, ладно? Скоро. Обещай.

– Обещаю.

Она ещё что-то говорила – о тёплых вещах, о посылке, о том, что выслала ему носки, дошли ли, – но он уже почти не слышал. Смотрел на запотевшее окно, на серое небо, на мокрый снег, и думал: «Скоро Рождество. А будет ли Рождество?».

– Саша? Ты слышишь?

– Да, Лиза. Я приеду.

Они попрощались.

Кузьмин-Караваев положил трубку, посидел минуту, глядя в одну точку.

Потом встал и пошёл в канцелярию – работать.

Вечером, вернувшись в свою комнату в офицерском флигеле, он зажёл свечу – электричество в городе давали с перебоями – и достал из ящика стола небольшую тетрадь в тёмно-синем коленкоровом переплёте.

На обложке не было ничего. Ни имени, ни года, ни вензеля.

Он открыл её, перелистнул несколько пустых страниц – первые записи датировались октябрём 1915-го, днём, когда он вернулся из Петрограда, с квартиры генерала Поливанова.

Сегодня он напишет новую запись.

Он обмакнул перо, стряхнул лишнее, вывел дату:

«10 ноября 1916 года. Псков»

Дальше писал без помарок, чётким, быстрым почерком человека, привыкшего фиксировать слова, не задумываясь о стиле.

«Сегодня утром поступила шифровка от Алексеева. Михаил Васильевич спрашивает Рузского, не пора ли заменить государя „на время войны“. Рузский не ответил ни да, ни нет. Он спросил моё мнение. Я сказал правду. Это была ошибка»

Он остановился, перечитал написанное. Зачеркнул «ошибка», написал сверху: «неосторожность».

«Рузский сказал: продолжайте вести дневник. Когда-нибудь это пригодится. Интересно, для чего именно? Для оправдания? Для обвинения? Или просто потому, что человеку свойственно оставлять след?»

«В столовой говорили об убийстве Распутина. Офицеры возбуждены, некоторые открыто радуются. Они не понимают, что убийство одного фаворита не спасёт династию. Династию спасает только вера народа в её необходимость. А этой веры больше нет»

«Говорил с Лизой. Она замёрзла, напугана, ждёт меня. А я сижу здесь, в Пскове, и жду... Чего? Телеграммы из Ставки? Распоряжения от Рузского? Знака свыше?»

«Мальчик в Царском опять болен. Не знаю, правда ли это или очередной слух. Но если правда – почему он болеет так часто? И почему вокруг его болезни столько тайн?»

«Я обещал записывать всё. Я записываю. Но становится только страшнее»

Он поставил точку, промокнул страницу, закрыл тетрадь.

Свеча догорала, фитиль плавал в лужице воска.

Кузьмин-Караваев погасил её щипцами и долго сидел в темноте, глядя на серый прямоугольник окна.

... В воскресенье он отпросился на два часа и пошёл в Кремль.

Псковский Кремль – Троицкий собор, толстые стены, ветер с Великой – был одним из немногих мест, где он чувствовал себя спокойно. Здесь пахло не войной, не канцелярией, а вечностью. Здесь тысячу лет назад точно так же стояли дозорные, смотрели на запад, ждали врага.

Снег пошёл внезапно – крупный, мягкий, настоящий. Не тот мокрый ноябрьский, что таял, не долетев до земли, а зимний, пушистый, обещающий Рождество.

Кузьмин-Караваев поднялся на стену, облокотился на парапет. Внизу текла серая Великая, на том берегу чернели крыши Завеличья, дымили трубы.

Он думал о государе.

Они встречались трижды – два раза в Ставке, один раз в Царском Селе на докладе. Николай Александрович производил впечатление человека вежливого, воспитанного, но совершенно не на своём месте. Он внимательно слушал, задавал умные вопросы, подписывал бумаги – и во всём этом чувствовалась не сила, а привычка. Привычка быть императором, делать императорские дела, носить императорскую форму.

А за этой привычкой – усталость. Глубокая, давняя, неизбывная.

«Государь устал», – написал Алексеев.

Это была правда.

Но заменить уставшего императора – не значит заменить выдохшуюся лошадь в упряжке. Лошадь везёт, потому что её погоняют. А императора погонять некому. И нечем.

Снег падал на плечи, на фуражку, таял на лице.

Кузьмин-Караваев вспомнил другое: цесаревича Алексея на смотре кадетов в Царском Селе, летом 1915-го. Мальчик стоял у окна, опираясь на костыль, и смотрел на марширующих мальчишек. В его глазах была такая тоска, такое желание быть там, в строю, таким же, как все, – что у полковника защемило сердце.

Он тогда подумал: «Этот ребёнок никогда не станет императором. Потому что он слишком человеческий».

Теперь он думал иначе.

«Этот ребёнок никогда не станет императором. Потому что они не позволят».

Он постоял ещё немного, стряхнул снег с фуражки и пошёл обратно в штаб.

На столе его ждал пакет.

Серый, казённый, сургучная печать с орлом. Гриф: «Совершенно секретно. Лично генералу Рузскому».

Кузьмин-Караваев расписался в получении, вскрыл, прочитал.

Это было письмо. Не шифровка, не телеграмма – именно письмо, написанное от руки, узнаваемым мелким почерком Алексеева.

«Дорогой Николай Владимирович,

в прошлой телеграмме я позволил себе намёк, который Вы, вероятно, поняли правильно. Но намёков недостаточно. Наступает время, когда нужно говорить прямо.

Я не знаю, сколько ещё продержится государь. Не в смысле здоровья – физически он крепок, – а в смысле воли. Последние месяцы он всё чаще говорит о том, что „устал“, „хотел бы покоя“, „думает о семье“. Это не просто слова. Это симптом.

Государь оставит трон – это вопрос времени. Меня волнует, кто его заменит.

Наследник, как Вы знаете, болен. Болезнь не смертельна, но она делает его невозможным кандидатом для правления в военное время. Регентство – вариант, но регентство при больном ребёнке создаст ещё больше проблем, чем мы имеем сейчас.

Остаётся великий князь Михаил Александрович. У него нет опыта, нет желания, но есть, по крайней мере, здоровье и вменяемость.

Я не призываю к бунту. Я призываю к размышлению.

Нам нужно быть готовыми. Когда – не знаю. Но, вероятно, раньше, чем мы думаем.

Ваш М. Алексеев

P.S. Сожгите это письмо после прочтения»

Кузьмин-Караваев перечитал дважды.

Потом сложил письмо в конверт, запечатал в новый пакет, надписал: «Генералу Рузскому. Лично».

Положил в портфель.

Сжигать не стал.

В коридоре, когда он шёл к Рузскому с пакетом, из полуоткрытой двери дежурной комнаты донёлся обрывок разговора.

– ...а наследник опять не выходит. Говорят, с ноября лежит.

– Кровотечение?

– Да нет, вроде не кровотечение. Какая-то простуда. Но температура держится.

– Долго уже.

– Долго. Императрица никого не пускает, даже великих князей.

– А государь?

– Государь в Могилёве. Приезжал на три дня, уехал обратно.

Пауза.

– Знаешь, что я думаю? Если с мальчиком что-то случится... Ведь наследника-то больше нет. Только Михаил Александрович.

– А он?

– А что он? Морганатический брак, графиня Брасова, невенчанные дети... Не примут его. Ни армия, ни Дума, ни народ.

– Тогда кто?

– А никто. Конец династии.

Кузьмин-Караваев прошёл мимо двери, не замедляя шага.

Но слова запомнил.

«Конец династии».

Он вошёл в приёмную Рузского, положил пакет на стол секретарю.

– Генералу. Лично в руки.

– Слушаюсь.

Вышел.

В коридоре было темно, сэкономили электричество. Он шёл на ощупь, считая шаги: десять до поворота, двадцать до канцелярии, тридцать – и можно сесть за стол, уткнуться в бумаги, забыть этот разговор.

Не забыл.

В семь часов вечера в канцелярии погасили свет.

Экономия. Военная экономия. На фронте не хватает снарядов, в тылу – угля, в столице – хлеба, а здесь, в Пскове, – электричества. Империя, умирающая от тысячи маленьких недостатков.

Кузьмин-Караваев зажёл свечу – восковую, тонкую, такие продавались в лавке на углу по пятаку за штуку. Света от неё было чуть, только чтобы не посадить пятно на мундир, когда подписываешь бумаги.

Он перебирал исходящие, ставил резолюции, проверял описи. Рутинная. Спасительная рутинная, которая не даёт думать.

Но свеча горела, и в её колеблющемся свете буквы начинали плыть, сливаться, превращаться в другие буквы.

«Государь устал».

«Заменить на время войны».

«Цесаревич не выходит».

«Конец династии».

Он отодвинул бумаги, взял чистый лист.

Написал:

«Алексеев, Рузский, великий князь Николай Николаевич, Родзянко, Гучков...»

Тринадцать имён. Тринадцать человек, которые собирались на квартире генерала Поливанова год назад и говорили о будущем России.

Тогда это казалось абстракцией. Теоретическим разговором интеллигентных людей, обеспокоенных судьбой отечества.

Теперь эти люди начинали действовать.

Кузьмин-Караваев посмотрел на список, помедлил – и дописал внизу:

«Кузьмин-Караваев А. А. – протоколист»

И ниже, мельче:

«Алексей Николаевич – наследник»

Свеча догорела до половины.

Он задул её, чтобы сохранить на завтра.

В темноте было легче не видеть этого списка.

... Ночью ему приснился поезд.

Императорский поезд – сине-золотые вагоны, вензеля на дверях, часовые в парадной форме на каждой площадке. Он стоял у насыпи и смотрел, как состав медленно выезжает со станции, набирая ход.

В окнах мелькали лица. Адьютанты, министры, фрейлины. Кто-то читал, кто-то пил чай, кто-то смотрел в темноту, как и он сам.

В последнем вагоне, у окна, стоял государь.

Николай Александрович был в форме, без фуражки, светлые волосы прилизаны. Он смотрел не на перрон, не на провожающих – он смотрел вперёд, туда, куда уходил поезд, в чёрную ночь без фонарей и звёзд.

Кузьмин-Караваев хотел крикнуть: «Ваше величество, не уезжайте! Там ничего нет!».

Но поезд уже ушёл.

Только три красных огня в хвосте состава – один над другим, как три капли крови, – ещё горели в темноте.

Потом исчезли и они.

Он проснулся от собственного крика.

В комнате было холодно, дождь барабанил по стеклу, за стеной кашлял сосед – подполковник Дружинин, старый служака, потерявший сына.

Кузьмин-Караваев лежал на спине, глядя в потолок, и слушал, как стучит сердце.

Поезд ушёл.

Но ему почему-то казалось, что это он сам стоит у окна, смотрит в темноту и не знает, остановится ли состав когда-нибудь или будет ехать вечно, сквозь снег, сквозь войну, сквозь годы, в никуда.

За окном светало. Начинаясь новый день.

ГЛАВА 4. Протокол №1. Присутствие

Октябрь 1915 – 2026

Октябрь в Петрограде выдался сырой, ветреный, с обложными дождями, которые превращали улицы в месиво грязи и мокрого снега. Полковник Кузьмин-Караваев прибыл в столицу утром 15-го числа с докладом от генерала Рузского и рассчитывал к вечеру уехать обратно в Псков.

Но в департаменте его задержали.

– Александр Александрович, вас просят задержаться. Вечером, частным образом, в квартире генерала Поливанова. Будут некоторые лица.

– По какому вопросу?

– Узнаете на месте.

Он не стал переспрашивать. В военной контрразведке не принято задавать лишних вопросов.

Квартира Поливанова находилась на Моховой, в доме, принадлежавшем когда-то графам Шереметевым. Генерал от инфантерии, член Государственного совета, бывший военный министр – Поливанов имел репутацию человека умного, осторожного и, что важнее, умеющего хранить тайны.

Швейцар в ливрее принял шинель, фуражку, назвал фамилию – и Кузьмина-Караваева провели через анфиладу тёмных, пахнущих воском и старой мебелью комнат в кабинет хозяина.

Кабинет был большой, с высокими окнами, выходящими во двор-колодец. Горели только две лампы под зелёными абажурами – на письменном столе и на отдельном столике у стены, за которым уже сидел человек в форме генерал-адъютанта и быстро писал что-то в блокноте.

Кузьмин-Караваев узнал его сразу: начальник штаба Ставки, генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев.

– Садитесь, полковник, – сказал Поливанов, указывая на свободный стул. – Мы вас ждали.

Кузьмин-Караваев сел.

В кабинете было тепло, пахло сигарами и, странно, ландышами – видимо, от стоявшего на подоконнике флакона духов. За спиной Алексеева, в кресле у камина, сидел ещё один человек – генерал-адъютант, с усталым, болезненным лицом и седыми бакенбардами. Кузьмин-Караваев не сразу узнал великого князя Николая Николаевича.

– Мы собрали вас, – начал Поливанов, – для разговора, который, возможно, покажется вам преждевременным. Уверю, это не так.

Он обвёл взглядом присутствующих. Кузьмин-Караваев только сейчас заметил, что в кабинете, кроме него и названных лиц, находятся ещё трое: председатель Государственной думы Родзянко – грузный, с тяжёлым подбородком, – и двое штатских, чьи лица показались знакомыми. Один из них, маленький, с бородкой клинышком, был Александр Иванович Гучков.

– Господа, – сказал Поливанов. – Я позволил себе пригласить полковника Кузьмина-Караваева по рекомендации генерала Рузского. Николай Владимирович аттестует его как человека исключительных способностей, абсолютной лояльности и, что для нас сейчас важнее всего, – умеющего молчать.

Кузьмин-Караваев почувствовал, как кровь приливает к лицу. Он не любил, когда его хвалили в лицо.

– Полковник, – продолжил Поливанов, – мы стоим на пороге событий, которые могут изменить судьбу России. Император болен – не физически, но морально. Императрица находится под влиянием людей, чьи имена мы не хотим здесь называть. Армия теряет доверие к Верховному главнокомандующему. Дума утратила надежду на диалог с властью. Династия...

Он сделал паузу.

– Династия в опасности.

В камине треснуло полено. Великий князь Николай Николаевич качнул головой, но промолчал.

– Мы не заговорщики, – твёрдо сказал Алексеев, поднимая глаза от блокнота. – Мы не готовим переворот. Мы не ищем власти. Но мы не можем сидеть сложа руки, наблюдая, как страна катится в пропасть. Мы должны быть готовы.

– К чему? – спросил Кузьмин-Караваев.

Все посмотрели на него.

– К любому развитию событий, – сказал Поливанов. – И для этого нам нужен человек, который будет фиксировать всё, что мы здесь говорим и решаем. Не для отчёта начальству. Для истории.

– Для потомков, – добавил Гучков. – Чтобы, когда всё закончится, у нас было документальное свидетельство: мы никого не предавали. Мы пытались спасти то, что можно спасти.

– Вы хотите, чтобы я вёл протокол? – спросил Кузьмин-Караваев.

– Да, – сказал Поливанов. – Совершенно секретный. Ни одна бумага не должна покинуть этого кабинета. Только вы, только здесь, и только до тех пор, пока вы сами не решите, что время обнародования настало.

Кузьмин-Караваев молчал.

Он думал о присяге, данной императору. О чести офицера. О том, что разговор, который он слышит, уже есть государственная измена – даже если его участники называют себя патриотами.

Он думал о жене, мёрзнувшей в нетопленной квартире. О солдатах, гибнущих в окопах. О мальчике в Царском Селе, который смотрит на мир глазами, в которых слишком много понимания.

– Я согласен, – сказал он. – При одном условии.

– Каком?

– Я не буду участвовать в действиях. Только фиксировать.

Поливанов и Алексеев переглянулись.

– Договорились, – сказал Алексеев.

Так полковник Кузьмин-Караваев стал протоколистом «Общества 13-ти».

Он раскрыл новую тетрадь – ту самую, в кожаном переплёте, которая через сто с лишним лет ляжет на стол его правнука – и обмакнул перо.

«Протокол №1. 15 октября 1915 года. Петроград, квартира генерала Поливанова. Присутствуют: генерал от инфантерии Алексеев М. В., генерал от инфантерии Поливанов А. А., генерал-адъютант великий князь Николай Николаевич, председатель Государственной думы Родзянко М. В., член Государственного совета Гучков А. И.,...»

Он записал всех тринадцать.

– Тема нашего собрания, – начал Поливанов, – сформулирована так: «Престолонаследие в условиях невозможности». Прошу высказываться.

Первым взял слово великий князь Николай Николаевич.

– Господа, я буду краток. Мой племянник, государь император, болен. Не телесно – душевно. Он потерял веру в себя, в династию, в Россию. Он слушает жену, а жена слушает проходимцев. Я люблю Ники, но я не могу смотреть, как он губит империю.

– Что вы предлагаете? – спросил Гучков.

– Я ничего не предлагаю. Я констатирую: если так продолжится, через год-два у нас не будет ни фронта, ни тыла, ни династии. Надо что-то делать.

– Что именно? – настаивал Гучков.

– Убедить государя передать власть регенту. До совершеннолетия наследника.

– А наследник?

Пауза.

– Наследник болен, – сказал великий князь. – Тяжело. Вы все знаете.

– Знаем, – подтвердил Родзянко. – Но закон не предусматривает отстранения наследника по болезни. Если государь отречётся, власть автоматически перейдёт к Алексею Николаевичу. Регентство – временная мера, но императором останется он.

– И что в этом плохого? – спросил Алексеев.

Все посмотрели на него с удивлением.

– Михаил Васильевич, – сказал Поливанов, – вы же сами говорили...

– Я говорю то, что думаю, – перебил Алексеев. – Наследник – ребёнок. Детьми можно управлять. Регентский совет из здравомыслящих людей сможет довести войну до победного конца, восстановить экономику, успокоить Думу.

– А потом? – спросил Гучков. – Когда мальчик вырастет?

Алексеев помолчал.

– Потом будет потом, – сказал он. – Возможно, к тому времени он сам откажется от престола в пользу дяди. Или у него найдутся другие... наклонности.

– Вы предлагаете ждать? – усмехнулся Гучков. – Ждать, пока мальчик подрастёт и начнёт задавать неудобные вопросы? Ждать, пока он вспомнит, кто отстранил его отца? Ждать, пока он станет совершеннолетним и получит власть?

– Я предлагаю не торопиться с выводами, – твёрдо сказал Алексеев. – Наследник – ребёнок. Неизвестно, доживёт ли он до совершеннолетия.

Наступила тишина.

– Вы это серьёзно? – спросил великий князь.

– Я говорю медицинский факт, – сказал Алексеев. – Гемофилия. Любой ушиб, любая царапина может стать смертельной. В 1912-м он был при смерти. Никто не даст гарантии, что это не повторится.

– И вы предлагаете... положиться на судьбу? – в голосе Гучкова звучало почти презрение.

– Я предлагаю не обсуждать то, что противозаконно и безнравственно, – отрезал Алексеев. – Мы здесь не для того, чтобы планировать убийство ребёнка. Мы здесь для того, чтобы спасти Россию. Не перепутайте цели.

Снова тишина.

– Хорошо, – сказал Поливанов. – Вернёмся к главному. Государь должен уйти. Это общее мнение. Вопрос: в чью пользу?

– Есть только два варианта, – сказал Родзянко. – Наследник Алексей или великий князь Михаил Александрович.

– Михаил Александрович не пользуется популярностью в династии, – заметил великий князь. – К тому же его морганатический брак...

– Брак можно оформить задним числом, – перебил Гучков. – Или объявить недействительным. В конце концов, он сам откажется от престола, если его попросить.

– Откажется?

– Да. У него нет амбиций. Он не хочет быть императором. Ему достаточно семьи, имения, охоты. Если мы скажем ему, что это необходимо для спасения России, – он согласится.

– А если нет?

– Убедим.

Гучков сказал это так, что ни у кого не осталось сомнений: «убедим» – это эвфемизм.

– Господа, – подал голос Кузьмин-Караваев. – Разрешите вопрос?

Поливанов кивнул.

– Вы говорите о государе, о великом князе, о наследнике... Но ни разу не упомянули, что скажут сами эти люди. Что скажет государь, когда ему предложат отречься? Что скажет мальчик, когда узнает, что его отца заставили уйти?

– Государь согласится, – сказал Алексеев. – Я его знаю. Он устал. Он хочет покоя.

– А мальчик?

Все посмотрели на него с тем же выражением, с каким смотрят на ребёнка, задавшего неудобный вопрос.

– Мальчик, – медленно сказал великий князь, – ещё ребёнок. Его мнение не учитывается.

– Но он наследник престола, – сказал Кузьмин-Караваев. – По закону, с шестнадцати лет он может принимать решения. Ему сейчас одиннадцать. Через пять лет он станет совершеннолетним. Что вы будете делать тогда?

– Через пять лет, – жёстко сказал Гучков, – война кончится. Россия будет другой. И мы будем другими.

– А если нет?

Гучков посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом.

– Полковник, – сказал он. – Вы здесь для того, чтобы записывать. Не для того, чтобы задавать вопросы.

Кузьмин-Караваев замолчал.

Перо скрипело по бумаге, фиксируя каждое слово.

Собрание длилось три часа.

Под конец, когда уже начали расходиться, Поливанов достал из сейфа конверт.

– Господа, – сказал он. – Прежде чем мы примем окончательное решение, прошу ознакомиться с документом, который поступил ко мне из Царского Села. Строго конфиденциально. Ограниченное распространение.

Он вынул из конверта несколько листов, исписанных мелким, аккуратным почерком, и передал Алексееву.

– Что это? – спросил генерал.

– Психологический портрет государя наследника. Составлен по просьбе императрицы лейб-медиком Фёдоровым. Официально – для обучения, лечения и воспитания. Неофициально...

– Что неофициально? – насторожился Гучков.

– Прочитайте сами.

Алексеев надел очки, пробежал глазами первые строки. Лицо его медленно менялось.

– Это... откуда у Фёдорова такие данные?

– Наблюдения. Беседы. Ежедневные записи. Он готовил этот доклад полгода.

– И императрица знает?

– Она заказала. Её беспокоит... необычность мальчика.

– Необычность?

– Читайте вслух, – потребовал Гучков. – Мы имеем право знать.

Алексеев помедлил, потом начал читать:

«Его Императорское Высочество государь наследник цесаревич и великий князь Алексей Николаевич, 11 лет. Физическое развитие: ниже среднего, бледен, худощав. Подвижность ограничена ввиду болезни, однако в периоды ремиссии активен, любознателен. Интеллектуальное развитие: значительно выше возрастной нормы. Обнаруживает способности к языкам, истории, математике. Читает много, предпочитает книги по военному делу и истории династии. Эмоциональная сфера: чрезвычайно развита. Склонен к глубоким переживаниям, которые умело скрывает. Отмечается повышенная эмпатия: цесаревич точно угадывает настроение

собеседника, его намерения, скрытые мотивы. Неоднократно зафиксированы случаи, когда он предсказывал события, которые затем сбывались с поразительной точностью...»

– Предсказывал? – перебил Родзянко. – Это что, мистика?

– Читайте дальше, – сказал Поливанов.

«...В марте 1915 года, за три дня до кончины великого князя Константина Константиновича, цесаревич сказал фрейлине И.: „Дядя К. скоро уедет от нас. Он очень устал“. Великий князь скончался от сердечного приступа 2 апреля. В июне того же года, во время посещения госпиталя, цесаревич остановился у койки тяжелораненого офицера и сказал: „Вы поправитесь. Вас ждут дома“. Офицер, которого врачи считали безнадежным, пошёл на поправку и через три месяца вернулся в строй. Сам цесаревич объясняет такие случаи „чутьём“ или „догадкой“. Однако количество совпадений превышает статистически вероятное...»

– Достаточно, – сказал великий князь. – Я не желаю слушать эту ерунду.

– Это не ерунда, – возразил Поливанов. – Это документ, подписанный одним из самых авторитетных врачей России. Фёдоров не склонен к фантазиям. Если он пишет, что мальчик обладает необычными способностями, – значит, они есть.

– И что из этого следует? – спросил Гучков.

– То, что мы обсуждали в начале, – сказал Поливанов. – Наследник не просто болен. Он – неизвестность. Мы не знаем, кем он вырастет. Мы не знаем, как он будет использовать свои... таланты. Мы не знаем, простит ли он нам то, что мы сейчас замыслием.

– Значит, – медленно сказал Алексеев, – нам нужно сделать так, чтобы он никогда не стал императором.

– Или чтобы он никогда не узнал правды, – добавил Гучков.

Кузьмин-Караваев записывал, и перо его дрожало.

ВКЛЕЙКА: ФАКСИМИЛЕ

[В тетради, между страницами 12 и 13, был вклеен конверт из плотной бумаги. На конверте – от руки, чернилами, выцветшими до коричневого: «Копия. Для протокола. Не подлежит оглашению до 2000 г.». Внутри – сложенный вчетверо лист, исписанный с обеих сторон. Почерк аккуратный, каллиграфический, с наклоном вправо. Внизу – подпись и дата: «Лейб-медик С. П. Фёдоров. Царское Село, 12 сентября 1915 г.».]

Ниже следует машинописная расшифровка, сделанная Верой Павловной:

«Дополнительные наблюдения (конфиденциально).

1. Способность цесаревича к предвидению проявляется нерегулярно, но с возрастом учащается. Наиболее часто – в периоды ремиссии, когда мальчик чувствует себя хорошо и много общается с окружающими. 2. Сам Алексей Николаевич не придаёт своим предсказаниям значения, считая их „игрой воображения“. На вопрос, откуда он знает, что случится, отвечает: „Я просто вижу. Это как картинка перед глазами“. 3. Императрица осведомлена об этих способностях, но предпочитает не обсуждать их. Император, по-видимому, не придаёт им веры. 4. Рекомендации: дальнейшее наблюдение; изоляция цесаревича от информации, которая может стимулировать его „видения“; ограничение круга общения; недопущение стрессовых ситуаций. 5. Особое мнение: я, нижеподписавшийся, не могу дать научного объяснения наблюдаемым феноменам. Однако факт их существования подтверждаю. Считаю своим долгом довести это до сведения лиц, ответственных за судьбу династии.

С. Фёдоров»

Когда чтение документа закончилось, в кабинете повисла тишина.

Кузьмин-Караваев смотрел на лица этих людей – генералов, сановников, великого князя – и видел на них одно выражение. Не страх. Страх был бы понятен. Это было другое.

Смятение.

Они привыкли управлять армиями, министерствами, империей. Они умели считать дивизии, снаряды, бюджеты. Они знали, как убедить, надавить, переиграть.

Но они не знали, что делать с ребёнком, который видит будущее.

– Простите, ваше императорское высочество, – сказал Кузьмин-Караваев, обращаясь к великому князю. – Разрешите вопрос?

Николай Николаевич кивнул.

– Вы знали об этом? О способностях Алексея Николаевича?

Великий князь помедлил.

– Я слышал разговоры. При дворе всегда ходят слухи. Я не придавал им значения.

– А теперь?

– Теперь я не знаю, что думать.

– Позвольте, – вмешался Гучков. – Полковник, вы задаёте не тот вопрос. Важно не то, верим мы в эти... феномены или нет. Важно то, что они есть. И что они представляют угрозу.

– Угрозу? – переспросил Кузьмин-Караваев. – Для кого?

– Для всех, – отрезал Гучков. – Для династии. Для государства. Для нас.

– Чем именно? Тем, что мальчик иногда угадывает события?

– Тем, что он угадывает их слишком точно. И тем, что он не умеет молчать.

– Он ребёнок, – сказал Кузьмин-Караваев. – Он не политик.

– Именно, – сказал Гучков. – Он ребёнок. А дети не умеют хранить тайны. Представьте, что он скажет кому-нибудь: «Я знаю, что вы хотите свергнуть моего отца». Или: «Я знаю, что вы боитесь меня». Что тогда?

– Тогда ему не поверят, – сказал Кузьмин-Караваев. – Примут за бред больного мальчика.

– А если поверят? – спросил Поливанов. – Если слух разойдётся? Если народ узнает, что наследник – не просто больной ребёнок, а... провидец? Ясновидящий? Это создаст вокруг него ореол мученика, пророка. Это усилит династию, которую мы пытаемся спасти, – и уничтожит нас.

– Значит, – медленно сказал Кузьмин-Караваев, – вас беспокоит не столько его способность, сколько то, что о ней могут узнать.

– Да, – сказал Поливанов. – Именно это.

Кузьмин-Караваев посмотрел на свои руки, сжимающие перо.

– И что вы предлагаете?

Никто не ответил.

Тишину нарушил великий князь.

– Я видел его месяц назад, – сказал он тихо. – В Царском. Я приехал с докладом к государю, зашёл к детям.

Он помолчал, глядя в огонь камина.

– Алексей сидел в кресле, читал книгу. Увидел меня, отложил книгу, посмотрел. И я вдруг понял: он знает. Знает, зачем я приехал. Знает, что я говорил государю накануне. Знает, что я думаю о его матери. Он ничего не сказал. Просто смотрел.

– И что вы почувствовали? – спросил Алексеев.

Великий князь повернулся к нему.

– Мне стало страшно, – сказал он. – Я генерал-адъютант, главнокомандующий, я воевал на трёх войнах, я видел смерть сотни раз. А тут – одиннадцатилетний мальчик, больной, с костылём. И мне стало страшно.

– Почему?

– Потому что он смотрит так, будто знает, когда мы лжём. Будто видит нас насквозь. Будто уже вынес приговор.

– Вы преувеличиваете, – сказал Гучков.

– Возможно, – согласился великий князь. – Но я не хочу, чтобы этот мальчик стал императором. Ни сейчас, ни через пять лет, ни через двадцать. Потому что он будет помнить.

– Что помнить?

– Всё.

Камин прогорел, угли тлели ровным малиновым светом. Кузьмин-Караваев записывал, и каждое слово ложилось на бумагу, как камень в фундамент здания, которое ещё никто не решился назвать заговором.

– Господа, – сказал Поливанов, возвращая разговор в деловое русло. – Мы отвлеклись. Нам нужно принять решение.

– Какое решение? – спросил Родзянко. – Мы говорим уже два часа, а конкретики – ноль.

– Конкретика будет, – сказал Алексеев. – Но сначала – организация. Мы не можем собираться вот так, бессистемно, без плана, без документов. Нам нужен координатор. Нам нужен аналитик. Нам нужен тот, кто будет вести хронику.

– Хронику? – переспросил Гучков.

– Да. Запись всего, что мы говорим, решаем, делаем. Чтобы в будущем, когда всё закончится, у нас было документальное свидетельство: мы не шайка заговорщиков, не изменники, не предатели. Мы – люди, пытавшиеся спасти Россию.

– И кому вы предлагаете вести эту хронику? – спросил Поливанов.

Алексеев посмотрел на Кузьмина-Караваева.

– Полковник, – сказал он. – Генерал Рузский рекомендовал вас как лучшего стенографа штаба. Вы владеете системой Габельсбергера?

– Так точно.

– И обычным шифром?

– Да.

– Согласны ли вы взять на себя эту обязанность? Вести протоколы наших собраний, хранить их в тайне и передать потомкам, когда наступит срок?

Кузьмин-Караваев почувствовал, как все взгляды обратились на него.

– Я... – начал он. – Это большая ответственность.

– Поэтому мы и спрашиваем вас.

Он помолчал.

– Я согласен, – сказал он. – Но при условии.

– Каком?

– Я не буду участвовать в действиях. Только фиксировать. Я не буду принимать решений, не буду голосовать, не буду выполнять поручения, связанные с... отстранением государя. Я – летописец. Не более.

Поливанов и Алексеев переглянулись.

– Договорились, – сказал Алексеев. – Вы – наш летописец.

– И свидетель, – добавил Поливанов. – Когда-нибудь ваши записи станут главным документом этой эпохи.

Кузьмин-Караваев кивнул.

Он ещё не знал, что этим «когда-нибудь» станет 2026 год.

И что его правнук будет сидеть в старой квартире на Петроградской и читать каждое его слово.

... Они пожали друг другу руки.

Рукопожатие было коротким, сухим, почти официальным – как при заключении любой служебной сделки. Только сделка эта была не служебная.

– Завтра я уезжаю в Могилёв, – сказал Алексеев. – Послезавтра – вы в Псков. Держите связь через генерала Рузского. Следующее собрание проведём в декабре, когда я вернусь.

– Тема? – спросил Поливанов.

– Та же. Престолонаследие. И... способы.
– Способы?
– Убеждения. Государя нужно подготовить. Постепенно, осторожно. Создать вокруг него атмосферу неизбежности. Пусть привыкнет к мысли, что отречение – единственный выход.
– А если не привыкнет?
Алексеев помолчал.
– Привыкнет, – сказал он. – Куда он денется.
Кузьмин-Караваев записал эту фразу.
Она показалась ему самой страшной из всего, что было сказано сегодня.
– Есть ещё одно обстоятельство, – сказал Поливанов, когда все уже вставали. – Мы должны дать слово.
– Слово? – переспросил Родзянко.
– Клятву. О неразглашении. Всё, что здесь говорилось, должно остаться между нами. Не только сейчас – всегда. До тех пор, пока мы сами не решим, что время говорить настало.
– И когда это будет? – спросил Гучков.
– Я предлагаю установить срок, – сказал Алексеев. – Чтобы у нас было время, а у будущих историков – возможность. Скажем... пятьдесят лет?
– Мало, – сказал Поливанов. – За пятьдесят лет многие из нас ещё будут живы. А живым свидетелям трудно молчать.
– Сто лет? – предложил великий князь.
Все переглянулись.
– Сто лет, – повторил Алексеев. – К 2000 году большинства из нас уже не будет в живых. Империя – если она сохранится – станет другой. А если нет...
– Если нет, – сказал Поливанов, – тем более. Пусть будущее знает правду.
– Согласны, – сказал Родзянко.
– Согласен, – сказал Гучков.
– Согласен, – сказал великий князь.
Все посмотрели на Кузьмина-Караваева.
– Я буду молчать, – сказал он. – Сто лет. Клянусь.
– Клянёмся, – повторили остальные.
Никто не перекрестился. Никто не призывал Бога в свидетели. Они были слишком умны, чтобы верить, что Бог на стороне заговорщиков.
Кузьмин-Караваев записал:
«15 октября 1915 года. 23:45. Принято единогласное решение: хранить тайну настоящего собрания и всех последующих до 2000 года. Протоколы опечатать и передать на хранение полковнику Кузьмину-Караваеву. Вскрыть по истечении срока или ранее – по единогласному решению всех участников»
Он поставил подпись.
Перо оставило на бумаге жирный, чуть расплывшийся след.
Чернила были чёрные, траурные.
... Кузьмин-Караваев сидел за столом в своей комнате в Пскове, перед ним лежала раскрытая тетрадь в синем коленкоровом переплёте. На часах – половина двенадцатого ночи, 10 ноября 1916 года.
Он смотрел на свои руки.
Те же руки, что год назад пожимали руку Алексею, держали перо, выводили клятву на бумаге. Те же пальцы, что листали доклад Фёдорова, переворачивали страницы протоколов, запечатывали конверты сургучом.
За год они не изменились. Ни морщин, ни пигментных пятен, ни дрожи – только чернильное пятно на указательном пальце правой руки, вечное, несмываемое.

Но внутри всё изменилось.

Он посмотрел на свои ладони. Раскрыл их, словно собираясь поймать невидимую воду.

– Чисты ли вы? – спросил он шёпотом.

Руки молчали.

Он сжал их в кулаки.

Он взял тетрадь в синем переплёте, ту самую, в которой вёл личный дневник, отличный от официальных протоколов.

Обмакнул перо. Написал дату:

«10 ноября 1916 года. Поздно»

«Год назад я дал согласие стать протоколистом. Тогда я думал, что это просто работа. Фиксировать, записывать, хранить. Не вмешиваться. Не участвовать. Остаться в стороне.

Сегодня я понял: стороны нет.

Каждое слово, которое я записываю, делает меня соучастником. Каждая фраза, занесённая в протокол, – мой голос, даже если я молчу. Каждая буква – камень в стене, которую мы строим вокруг государя.

Я думал: я только свидетель. Но свидетель в суде – тоже часть процесса. Его показания могут оправдать или осудить.

Я веду протокол заговора. Я знаю имена, даты, планы. Я знаю, что Алексеев и Рузский уже не просто обсуждают – они готовятся. Я знаю, что великий князь, несмотря на свои сомнения, с ними. Я знаю, что Дума ждёт сигнала, а Гучков – только повода.

И я знаю о мальчике.

Я знаю то, чего не должен знать. И не могу забыть.

Сегодня мне приснился поезд. Императорский поезд, уходящий в никуда. Я стоял у насыпи и смотрел вслед. А потом обернулся и увидел, что сам стою на рельсах, а поезда уже нет, только тьма впереди и тьма позади.

Я стал частью того, что записывал.

Теперь это мой приговор»

Он промокнул страницу, закрыл тетрадь, задул свечу.

В темноте его дыхание было слышно особенно отчётливо.

... Михаил оторвал взгляд от бумаг.

Вера Павловна сидела напротив, сложив руки на коленях, и смотрела на него с тем особым выражением, какое бывает у людей, которые знают больше, чем говорят.

– Вы прочитали? – спросила она.

– Да.

– Теперь вы понимаете?

Михаил молчал.

Он смотрел на расшифрованные листы, на фотокопию доклада Фёдорова, на протокол первого собрания. И на отдельном листе – запись из личного дневника: «Я стал частью того, что записывал».

– Мой прадед, – сказал Михаил. – Он был с ними.

– Был, – подтвердила Вера Павловна. – Но не до конца.

– В каком смысле?

– Он не участвовал в действиях. Только фиксировал. Он сам поставил это условие.

– И это его оправдывает?

Вера Павловна помолчала.

– Нет, – сказала она. – Не оправдывает. Но объясняет.

– Что объясняет?

– Почему он молчал семьдесят лет. Почему спрятал тетрадь в двойное дно. Почему никому не рассказал – даже внучке. Потому что ему было стыдно.

– Или страшно, – сказал Михаил.

– Или страшно, – согласилась Вера Павловна.

Михаил закрыл тетрадь.

За окном её квартиры, на Васильевском, темнело. Зажигались фонари, спешили прохожие, шуршали шины по мокрому асфальту. Обычный петербургский вечер.

Обычный, как сто лет назад.

– Что мне теперь делать? – спросил Михаил.

– А что вы хотите сделать?

– Я хочу узнать правду. Всю. До конца.

– Тогда читайте дальше, – сказала Вера Павловна. – Там ещё двести страниц.

Она помолчала.

– И будьте осторожны. Вы теперь – хранитель этой тайны. Как ваш прадед. Только у вас есть выбор, которого не было у него.

– Какой выбор?

– Остановиться. Или идти до конца.

Михаил посмотрел на тетрадь.

Она лежала на столе, тяжёлая, тёмная, молчаливая – как все невысказанные признания всех мёртвых полковников всех исчезнувших империй.

Он открыл её на следующей странице.

«Протокол №2. 3 ноября 1915 года. Петроград, особняк князя Андроникова...»

– Я буду читать, – сказал он.

Вера Павловна кивнула. За окном зажглись фонари. Вечер продолжался.

ГЛАВА 5. Лейб-гвардия молчания

Петроград, салон Андроникова, декабрь 1916

Поезд из Пскова прибыл на Варшавский вокзал в половине четвёртого пополудни, но полковник Кузьмин-Караваев покинул здание только через час – пришлось дожидаться извозчика, которых в декабрьском Петрограде катастрофически не хватало.

Мороз стоял крепкий, градусов двадцать, воздух был сухой, колкий, с той особенной петербургской прозрачностью, когда каждый звук слышен за версту, а выдох превращается в облачко мгновенно замерзающего пара. Кузьмин-Караваев запахнул шинель, поправил башлык и назвал адрес:

– Моховая, дом двадцать семь.

Извозчик – пожилой, с замёрзшей бородой, в рваном армяке – только кивнул. Лошадь тронулась, цокая подковами по бульжной мостовой.

Город жил своей жизнью. На углах толпились бабы с кошелками – очереди за хлебом начинались уже с четырёх утра, и к вечеру уставшие, озлобленные люди всё ещё надеялись урвать хоть буханку. У Адмиралтейства маршировали юнкера – смена караула, ритуал, не менявшийся двести лет. В витрине Елисеевского горели огни, переливались хрусталём люстры, и дамы в соболях входили в стеклянные двери, не глядя по сторонам.

Две России ехали на одних санях, но в разные стороны.

Дом на Моховой, принадлежавший князю Ивану Александровичу Андроникову, не был ни самым богатым, ни самым известным в Петрограде. Но он был самым нужным.

Швейцар – вышколенный, с бакенбардами александровских времён – принял шинель и фуражку с таким выражением лица, словно делал одолжение самому государю.

– Пожалуйте, ваше превосходительство.

Кузьмин-Караваев не был превосходительством, но спорить не стал. В этом доме все были «превосходительствами».

В гардеробной, отделанной тёмным дубом, уже висело с десятков шинелей – генеральские, с красными отворотами, министерские, с бобрами, и одна штатская, драпового сукна, из тех, что носят члены Государственной думы. Кузьмин-Караваев повесил свою рядом, поправил мундир, провёл рукой по коротким волосам – и шагнул в анфиладу.

Запах здесь был особенный: смесь дорогого табака, французских духов и – странно – ландышей, тех самых, что стояли на подоконнике в кабинете Поливанова. Видимо, у князя Андроникова был один поставщик.

– Полковник! – раздался голос из глубины гостиной. – А мы вас заждались!

Князь Андроников – маленький, юркий, с блестящими глазами и манерами фокусника – уже спешил навстречу, протягивая обе руки.

– Ради бога, простите, Иван Александрович, – Кузьмин-Караваев слегка склонил голову. – Поезд опоздал.

– Пустое, пустое! Все свои, все уже в сборе. Прощу!

И он повлёк полковника в гостиную, где, казалось, собрался весь Петроград.

Гостиная князя Андроникова напоминала портретную галерею, только портреты были живые и пили шампанское.

У камина, привалившись плечом к мраморной доске, стоял Александр Иванович Гучков. В чёрном сюртуке, с бородкой клинышком и неизменным моноклем, он выглядел так, будто только что сошёл с карикатуры в «Сатириконе». Но глаза у него были не карикатурные – острые, холодные, оценивающие.

Напротив, в глубоком вольтеровском кресле, восседал Михаил Владимирович Родзянко. Председатель Государственной думы занимал собой всё кресло и ещё немного выступал за его пределы. Лицо у него было багровое, с сеткой лопнувших сосудов на щеках – результат многолетнего возлияния и многолетней же бессильной ярости.

В углу, у пальмы в кадке, стояла группа офицеров свиты. Среди них Кузьмин-Караваев сразу узнал великого князя Кирилла Владимировича – двоюродного брата государя, моряка, с бледным, надменным лицом и неестественно прямой спиной. Он был в форме гвардейского экипажа и, кажется, чувствовал себя не в своей тарелке.

– Полковник, – князь Андроников подвёл Кузьмина-Караваева к Гучкову. – Позвольте представить: Александр Иванович Гучков. Наш главный смутьян, гроза правительства и, смею надеяться, будущий премьер.

Гучков коротко усмехнулся, не вынимая монокля.

– Оставьте, князь. Полковник – человек штабной, ему эти политические игры, поди, и неинтересны.

– Напротив, – сказал Кузьмин-Караваев. – Очень интересны.

Гучков посмотрел на него с лёгким удивлением, потом кивнул.

– Ну-ну. Посмотрим.

Он отвернулся к камину, давая понять, что аудиенция окончена.

Кузьмин-Караваев отошёл к столу с закусками. Взял бокал шампанского, сделал глоток – шампанское было тёплое, выдохшееся, как и всё в этом доме.

– Не пейте, – раздалось у плеча. – Отрава.

Он обернулся. Рядом стоял незнакомый полковник – лет сорока, с сединой на висках и умным, усталым лицом.

– Я предпочитаю водку, – сказал Кузьмин-Караваев.

– И правильно. Шампанское здесь пьют только те, кому нечего скрывать. А у нас, кажется, каждый что-то скрывает.

Незнакомец усмехнулся и отошёл к окну.

Кузьмин-Караваев запомнил его лицо. Позже, через три месяца, он увидит этого человека в форме командующего фронтом и вспомнит этот разговор.

Разговор в гостиной крутился вокруг одного, как мухи вокруг мёда.

– Вы слышали? – говорил какой-то штатский с бакенбардами, обращаясь к соседу. – Говорят, тело до сих пор не нашли. Прорубь затянуло льдом, а там течение сильное, могло унести далеко.

– Найдут, – отрезал сосед. – Куда он денется. Хотя, честно говоря, я бы предпочёл, чтобы не нашли.

– Почему?

– Меньше шума. И меньше поводов для истерики у её величества.

Имя императрицы не произносили вслух. «Её величество» – и многозначительная пауза.

– А что государь? – спросил кто-то.

– Государь в Могилёве. Говорят, очень переживает. Но не возвращается.

– И правильно. Пусть сидит в Ставке. Здесь ему сейчас делать нечего.

– А наследник?

– Наследник болен. Опять.

– Да что ж такое!

– Гемофилия, – сказал Гучков, не оборачиваясь от камина. – Не лечится. И не проходит. Будет болеть всю жизнь. Если она, конечно, не оборвётся раньше.

Наступила тишина.

Гучков поправил монокль и добавил:

– Я имею в виду, от естественных причин.

– Разумеется, Александр Иванович, – поспешно сказал Андроников. – Разумеется.

Кузьмин-Караваев записывал в блокноте – стенографически, быстрыми значками, которые никто вокруг не мог прочесть.

«Гучков: гемофилия наследника. Намёк на возможность ранней смерти. Родзянко (молча): одобрительный кивок. Великий князь Кирилл: делает вид, что рассматривает картину»

– Господа, – подал голос Родзянко из глубины кресла. – Мы отвлекаемся. Распутин – это симптом, а не болезнь. Болезнь – это режим. Режим, при котором страной управляет кучка проходимцев, а государь не в силах навести порядок.

– Вы предлагаете навести порядок? – спросил кто-то.

– Я предлагаю не ждать, пока этот порядок наведут другие.

– Кто – другие?

Родзянко тяжело повернул голову.

– Улица, – сказал он. – Толпа. Народ. Когда люди выходят на площадь с пустыми кошелками, они уже не смотрят на портреты императора.

– Михаил Владимирович, вы преувеличиваете.

– Дай бог, чтобы преувеличивал. Но, извините, статистика: за ноябрь – двенадцать хлебных бунтов. За первую неделю декабря – уже восемь. Вы понимаете, что это значит?

– Что зима будет холодная? – усмехнулся Гучков.

– Что зима будет кровавая, – сказал Родзянко.

Никто не усмехнулся в ответ.

И тут вступил тот самый незнакомый полковник, который советовал не пить шампанское.

– Господа, – сказал он негромко. – Мы всё обсуждаем Распутина, государя, Думу. Но позвольте напомнить: Распутин был не единственным каналом влияния на императорскую чету.

– Вы о ком? – насторожился Андроников.

– О Вырубовой. Анна Александровна. Ближайшая подруга императрицы. Её влияние ничуть не слабее, а по некоторым вопросам – даже сильнее.

– Анна Александровна – женщина, – сказал Гучков. – Её влияние ограничено личными вопросами.

– Вы уверены? – спросил полковник. – Через неё проходят назначения, через неё идёт переписка, через неё – всё, что касается наследника.

– Наследника?

– Императрица не доверяет придворным врачам. Она советуется с Вырубовой. А Вырубова советуется с кем? С Распутиным советовалась. Теперь, когда Распутина нет...

Он не договорил. И не нужно было договаривать.

– Один фаворит ушёл, – медленно произнёс кто-то в углу. – Осталась фаворитка.

Пауза повисла такая плотная, что её можно было резать ножом.

Все поняли.

Фаворит – Распутин. Фаворитка – императрица.

Никто не произнёс это вслух. Но все подумали.

Кузьмин-Караваев записывал, и пальцы его слегка дрожали.

«22:15. Реплика (автор не установлен): „Один фаворит ушёл. Осталась фаворитка“. Общее молчание. Гучков смотрит в камин. Родзянко тяжело дышит. Великий князь Кирилл покинул комнату под предлогом курения»

– Господа, – сказал Андроников, пытаясь разрядить обстановку. – Ещё шампанского? Или, может быть, чаю? У меня есть отличный чай, прямо из Кяхты...

– Какой чай, – буркнул Родзянко. – Какое шампанское. Вы понимаете, что мы сейчас произнесли?

– Мы ничего не произносили, – быстро сказал Гучков. – Мы обсуждали влияние некоторых придворных кругов на политические решения. Это законная тема для дискуссии.

– В частном доме, за закрытыми дверями, – добавил Андроников.

– И без протокола, – сказал Гучков, бросив быстрый взгляд на Кузьмина-Караваева.

Полковник аккуратно закрыл блокнот и убрал его во внутренний карман мундира.

– Разумеется, без протокола, – сказал он.

Гучков кивнул.

Разговор перешёл на поставки продовольствия.

... Вернувшись в гостиницу, Кузьмин-Караваев запер дверь на ключ, зажёл свечу и разложил на столе два блокнота.

Первый – маленький, карманный, с кожаным переплётом. Там, быстрыми стенографическими значками, были записаны подлинные реплики вечера. Непричёсанные, опасные, почти крамольные.

«Гучков: наследник – обуза, чем раньше умрёт, тем лучше». «Родзянко: императрица – главная проблема, Распутин был только ширмой». «Неустановленный офицер: один фаворит ушёл – осталась фаворитка». «Великий князь Кирилл (вполголоса): если так продолжится, династии конец».

Он перечитал эти записи, помедлил – и взял второй блокнот, служебный.

Здесь он писал обычным почерком, чётким, каллиграфическим, без единой пометки. Для отчёта. Для начальства. Для истории, которая будет писаться потом, когда все эти люди станут или героями, или изменниками.

«22 декабря 1916 года. Вечер у князя Андроникова. Присутствовали: члены Государственной думы, офицеры свиты, представители генералитета. Обсуждались текущие политические события. Отмечено общее беспокойство в связи с убийством Г. Распутина. Высказывались мнения о необходимости укрепления исполнительной власти. Великий князь Кирилл Владимирович подчеркнул важность сохранения династической преемственности. Александр Иванович Гучков призвал к консолидации здоровых политических сил. М. В. Родзянко указал на трудности в продовольственном снабжении столицы. Обстановка спокойная, эксцессов не было»

Он перечитал написанное.

Всё правда. И ни слова правды.

Кузьмин-Караваев задул свечу и долго сидел в темноте, глядя на огни Петрограда за окном.

Он впервые в жизни сознательно исказил информацию в официальном документе.

Это было легче, чем он думал.

В половине двенадцатого Кузьмин-Караваев вышел на балкон.

Мороз обжёг лицо, в лёгкие ворвался ледяной воздух – такой чистый, такой прозрачный, что голова закружилась. Внизу, на Моховой, почти не было движения: редкие извозчики, редкие прохожие, редкие огни.

– Тоже не выносите этой духоты?

Он обернулся. Рядом стоял тот самый полковник, что советовал не пить шампанское. Теперь, в полумраке балкона, его лицо казалось ещё более усталым.

– Да, – сказал Кузьмин-Караваев. – Душно.

– Вам в Псков, говорят?

– Так точно.

– Хороший город. Тихий. Спокойный. Не то что здесь.

Полковник помолчал, глядя на тёмную ленту Невы.

– Я вас раньше не видел в этом доме, – сказал он. – Впервые?

– Впервые.

– И какое впечатление?

Кузьмин-Караваев помедлил.

– Странное, – сказал он. – Все говорят о спасении России, но никто не говорит о том, какой они её видят.

– А вы какой её видите?

– Я военный, – сказал Кузьмин-Караваев. – Я не политик. Моё дело – выполнять приказы.

– А если приказы перестанут отдавать?

– Тогда буду ждать.

Полковник усмехнулся.

– Ждать – опасное занятие. Иногда дожидаясь того, чего не ждал.

Он протянул руку.

– Генерального штаба полковник Деникин. Антон Иванович.

Кузьмин-Караваев пожал руку.

– Кузьмин-Караваев. Северный фронт, канцелярия Рузского.

– Знаю, – сказал Деникин. – Рузский – человек осторожный. И умный. Он не будет ждать.

– Что вы имеете в виду?

Деникин посмотрел на него долгим взглядом.

– То, что вы и сами понимаете, – сказал он. – Прощайте, полковник.

Он шагнул с балкона в гостиную и исчез в толпе.

Кузьмин-Караваев остался один.

Мороз щипал щёки, звёзды над Петроградом горели холодно и равнодушно.

Он вспомнил это имя.

Деникин.

Через два года – командующий Добровольческой армией. Ещё через два – Главнокомандующий Вооружёнными силами Юга России. А пока – просто полковник на балконе, курящий папиросу и говорящий загадками.

... Он уехал ранним утром, когда Петроград ещё спал, укрытый серым декабрьским рассветом.

Вокзал был забит народом – беженцы из прифронтовых губерний, солдаты, спекулянты, женщины с детьми. Кузьмин-Караваев с трудом протиснулся к вагону третьего класса (первого и второго в этом поезде не было) и всю дорогу простоял в тамбуре, глядя, как мимо проплывают заснеженные поля, перелески, полустанки.

В Псков приехали к вечеру.

Город встретил его тем же серым небом, теми же сугробами, тем же холодом. Но здесь, в Пскове, всё было проще, понятнее. Штаб. Доклады. Карты. Приказы.

Здесь не говорили намёками.

Здесь отдавали честь и выполняли присягу.

Кузьмин-Караваев вошёл в здание штаба, сдал шинель в гардероб, поднялся на второй этаж.

– Полковник, вас генерал ждёт, – сказал адъютант. – Сразу, как прибудете.

Кузьмин-Караваев поправил мундир, провёл рукой по волосам и постучал в дверь кабинета Рузского.

Рузский сидел за столом при свете одной только настольной лампы. Лицо у него было серое, усталое, с синевой под глазами – за последний месяц он постарел лет на десять.

– Садитесь, полковник.

Кузьмин-Караваев сел.

– Ну что там, в столице?

Рузский смотрел на него в упор. Не генеральским, начальственным взглядом, а другим – человеческим, почти просящим.

Кузьмин-Караваев открыл рот – и понял, что не может сказать правду.

Не может рассказать о реплике про «фаворитку». О намёках Гучкова на смерть наследника. О молчаливом согласии великого князя Кирилла. О полковнике Деникине, который смотрит на него с балкона и говорит, что ждать опасно.

Не может.

Потому что если он скажет правду – Рузский поймёт, что заговор зашёл слишком далеко. Или не поймёт. Или сделает вид, что не понял. И тогда Кузьмин-Караваев станет не просто протоколистом, а доносчиком.

– Всё спокойно, ваше превосходительство, – сказал он. – Обсуждали убийство Распутина, конечно. Но без эксцессов. Великий князь Кирилл Владимирович призвал к сохранению династической преемственности. Гучков – к консолидации сил. Продовольственные трудности, но не критические.

Рузский слушал, не перебивая.

– А настроения? – спросил он. – Какие настроения в обществе?

– Общество обеспокоено, но сохраняет спокойствие.

– Спокойствие, – повторил Рузский. – Хорошо.

Он откинулся на спинку кресла.

– Спасибо, полковник. Можете идти.

Кузьмин-Караваев встал, козырнул, вышел.

В коридоре он прислонился к стене и закрыл глаза.

Он только что солгал прямому начальнику.

Впервые в жизни.

Ночью он не мог уснуть.

В комнате было холодно, электричество не давали, свеча оплывала, и воск застывал причудливыми наплывами на медном подсвечнике.

Кузьмин-Караваев сидел за столом, перед ним лежали два блокнота: маленький, карманный, с подлинными записями, и большой, служебный, с отчётом для Рузского.

Он открыл личный дневник.

«23 декабря 1916 года. Псков. Ночь.

Я солгал генералу Рузскому. Я сказал ему, что в столице спокойно. Это неправда. В столице – брожение. В столице – страх. В столице – заговор, который уже не остановить.

Но я не мог сказать правду. Потому что правда звучала бы как донос. А на кого доносить? На Гучкова, который хочет спасти Россию от императрицы? На великого князя, который боится за судьбу династии? На полковника Деникина, который говорит загадками?

Они все считают себя патриотами. Может быть, так оно и есть. Но от этого не легче.

Я уже не просто фиксирую. Я отбираю факты. Я решаю, что попадет в официальный отчёт, а что останется в стенографических значках, понятных только мне одному.

Я стал цензором собственной совести.

Скоро я перестану понимать, где правда, а где – её удобная версия.

Скоро я перестану понимать, на чьей я стороне.

А может быть, я уже не понимаю»

Он промокнул страницу, закрыл тетрадь.

Свеча догорела почти до конца. Он задул её, и комната погрузилась во тьму.

За стеной кашлял сосед – подполковник Дружинин, старый служака, потерявший сына. Кашель был сухой, надсадный, без надежды на утро.

Кузьмин-Караваев лежал на спине, глядя в потолок.

Ему казалось, что он слышит, как под полом, в фундаменте, шевелится что-то огромное и древнее. Империя. Династия. История.

Они не хотели ждать. Они требовали выбора. А он не знал, какой выбор правильный.
За окном начиналась самая длинная ночь в году.

До Рождества оставалось три дня.

До отречения – два с половиной месяца.

ГЛАВА 6. Протокол №4. Династический

Февраль 1917 – 2026.

Поезд из Пскова прибыл в Киев ранним утром 17 февраля, когда город ещё спал, укутанный в густой, молочный туман с Днепра.

Кузьмин-Караваев сошёл на перрон и сразу почувствовал разницу. Здесь, на Юго-Западном фронте, воздух был другим – не промозгло-сырым, как в Пскове, а морозным, сухим, с лёгкой горчинкой первых оттепелей. Весна приближалась с юга, и даже война не могла этого остановить.

– Полковник? – к нему подошёл адъютант в форме Свиты. – Великий князь ожидает вас к одиннадцати. Прошу следовать за мной.

Штаб Юго-Западного фронта размещался в здании бывшего кадетского корпуса – тяжёлом, жёлто-сером, с колоннами и высокими окнами. У подъезда толпились офицеры, связные, вестовые; воздух звенел от телеграфных аппаратов и топота сапог.

Кузьмина-Караваева провели на второй этаж, в приёмную, где секретарь – пожилой чиновник с лицом профессиональной бесстрастности – предложил подождать.

– Его императорское высочество занят. Прошу вас.

Кузьмин-Караваев сел у окна, положил портфель на колени.

За окном, на площади, маршировали новобранцы – молодые, необстрелянные, в шинелях не по размеру. Инструктор орал так, что стёкла дрожали.

– Полковник? – голос адъютанта вывел его из задумчивости. – Великий князь просит.

Он вошёл в кабинет.

Великий князь Александр Михайлович стоял у карты, спиной к двери. Услышав шаги, обернулся.

Кузьмин-Караваев видел его прежде только на официальных церемониях и парадных портретах. Там великий князь выглядел бодрым, подтянутым, уверенным – моряк, генерал-адъютант, член Государственного совета.

Сейчас перед ним стоял усталый, немолодой человек с глубокими складками у рта и красными от бессонницы глазами.

– Садитесь, полковник, – сказал Александр Михайлович. – Я получил телеграмму от Рузского. Он пишет, что вам можно доверять.

– Я постараюсь оправдать доверие, ваше императорское высочество.

Великий князь усмехнулся.

– Оправдать доверие. Красивые слова. Я сам их всю жизнь говорю, а теперь не знаю, что они значат.

Он сел в кресло, жестом пригласил Кузьмина-Караваева занять стул напротив.

– Вы знаете, зачем я вас пригласил?

– Нет, ваше высочество.

– Затем, чтобы вы записали то, что я сейчас скажу. Дословно. Стенографически. И передали генералу Рузскому. И никому больше.

Кузьмин-Караваев достал блокнот, раскрыл чистую страницу.

– Я готов, ваше высочество.

Александр Михайлович помолчал, собираясь с мыслями. Потом заговорил – негромко, медленно, словно диктуя заветное.

«Начало стенограммы.

Передайте генералу Рузскому следующее:

Я знаю Николая Александровича сорок семь лет. Он мой двоюродный брат, друг детства, человек, которому я присягал и которому буду присягать до конца жизни.

Я не слепой. Я вижу, что происходит. Я вижу, как он устал. Я вижу, как она его изматывает своей тревогой, своей ревностью, своей одержимостью. Я вижу, что двор превратился в театр марионеток, а правительство – в собрание случайных людей.

Но я также вижу другое.

Вокруг Ники – заговор. Не мифический, не тот, о котором кричат в Думе, а настоящий, подковёрный, опасный. Есть люди, которые хотят его убрать. Не убить – нет, они не убийцы. Они хотят его отстранить, объявить недееспособным, заставить отречься.

Я знаю эти лица. Я слышал эти разговоры. Я молчал, потому что не верил, что дойдёт до дела. Теперь верю.

Ники не создан для политики. Он создан для семьи, для армии, для простой человеческой жизни. Ему нужен покой, тишина, возможность быть самим собой. В Петрограде, в Царском, в этой атмосфере ненависти и интриг – он задохнётся.

Я хочу его спасти.

Не династию. Не империю. Не трон. Его – живого человека, моего брата, отца моих племянников.

Передайте Рузскому: если он и те, кто за ним, действительно хотят блага России – пусть не трогают Ники. Пусть дадут ему уйти самому. Не отречение, не унижение, не публичный скандал. Просто – уехать. В Крым, в Ливадию, под предлогом болезни. Пусть побудет там с семьёй, пока война не кончится. А там видно будет.

Если же они не дадут ему уйти...

Тогда я не знаю, что будет. Но я не хочу присутствовать при этом.

Я люблю своего брата. Я не хочу, чтобы его убили.

Конец стенограммы»

Великий князь замолчал.

Кузьмин-Караваев дописывал последние строки. Перо скрипело по бумаге, и этот скрип казался оглушительным в тишине кабинета.

– Вы записали? – спросил Александр Михайлович.

– Так точно, ваше высочество.

– Дайте сюда.

Он взял блокнот, пробежал глазами страницу, кивнул.

– Хорошо. Теперь перепишите это начисто и отправьте с курьером. И помните: никто не должен знать об этом разговоре. Никто.

Кузьмин-Караваев спрятал блокнот во внутренний карман мундира.

– Осмелюсь спросить, ваше высочество, – сказал он. – Почему вы не скажете это государю лично?

Великий князь посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом.

– Потому что он не поверит, – сказал он. – Он считает меня предателем. Изменником. Как и всех, кто пытается открыть ему глаза.

– Это не так.

– Это так, полковник. И вы это знаете.

Он отвернулся к карте.

– Ступайте.

Он уже взялся за ручку двери, когда великий князь окликнул его:

– Полковник.

– Да, ваше высочество?

– Добавьте ещё одну фразу. Лично для государя. Если когда-нибудь этот разговор дойдёт до него... хотя бы через десять, двадцать лет... пусть знает.

Кузьмин-Караваев снова раскрыл блокнот.

– Диктуйте, ваше высочество.

Александр Михайлович закрыл глаза. Голос его стал тихим, почти неслышным:

«Ники, есть люди, которые хотят твоей смерти. Не от короны – от жизни. Уезжай в Крым. Спаси семью. Я тебя умоляю, как брат брата: не верь никому. Даже мне. Но этому – верь»

Он открыл глаза.

– Записали?

– Так точно.

– Спасибо.

Кузьмин-Караваев поклонился и вышел.

В коридоре он остановился, прислонился к стене. Сердце колотилось где-то в горле.

Эти слова не предназначались для протокола. Они предназначались для одного человека, который через две недели подпишет отречение, не зная, что брат пытался его спасти.

Он стоял так минуту, две. Потом выпрямился и пошёл на телеграф.

... Ночью, в поезде, уносящем его обратно в Псков, Кузьмин-Караваев не спал.

Он сидел в углу пустого купе второго класса, смотрел в чёрное окно, за которым изредка проплывали огни полустанков, и думал.

Великий князь говорил с ним как с посланником. Он верил, что слова, записанные в блокноте, будут переданы Рузскому – и только Рузскому. Что Рузский, как честный солдат, передаст их государю. Что государь, возможно, прислушается.

Великий князь не знал, что Рузский – член «Общества 13-ти».

Великий князь не знал, что Кузьмин-Караваев – протоколист этого общества.

Великий князь не знал, что его искренний, отчаянный, братский призыв ляжет не на стол императора, а в папку с грифом «Для обсуждения на очередном собрании».

Кузьмин-Караваев смотрел на своё отражение в тёмном стекле и думал: «Что я делаю?».

Ответа не было.

Только стук колёс, только бесконечная ночь, только телеграфные столбы, мелькающие за окном, как пунктир судьбы.

... Он прибыл в Псков утром 19 февраля.

Рузский принял его немедленно, даже не дав сдать шинель.

– Ну? – спросил генерал, едва Кузьмин-Караваев переступил порог кабинета. – Что великий князь?

Кузьмин-Караваев достал блокнот, раскрыл на нужной странице.

– Великий князь просил передать следующее...

– Потом, – перебил Рузский. – Сначала – суть. Он согласен?

– Согласен? – не понял Кузьмин-Караваев. – На что?

– На отречение. На то, что государю нужно уйти.

– Ваше превосходительство, великий князь говорил совсем о другом...

– Я прочитал вашу телеграмму, – сказал Рузский. – Короткую, с дороги. Вы писали: «Великий князь считает отъезд государя необходимым».

Кузьмин-Караваев замер.

– Я... это был предварительный намёк, ваше превосходительство. Полный текст – иной.

– Какой иной?

Кузьмин-Караваев начал читать монолог великого князя. Но уже на третьей фразе Рузский поднял руку.

– Достаточно, полковник. Я понял.

Он снял очки, протёр стёкла, снова надел.

– Значит, великий князь предлагает государю... бежать? Укрыться в Крыму?

– Он предлагает дать государю возможность уйти без скандала. Сохранить достоинство.

– Сохранить достоинство, – повторил Рузский. – Хорошая формулировка. Жаль, что уже поздно.

– Поздно? – переспросил Кузьмин-Караваев.

Рузский посмотрел на него долгим взглядом.

– Вы ничего не знаете, полковник. И вам лучше не знать.

Он протянул руку.

– Дайте ваши записи.

Кузьмин-Караваев помедлил. Потом вынул из блокнота листы с монологом великого князя и передал генералу.

Рузский пробежал их глазами, кивнул.

– Это останется у меня.

– Но великий князь просил передать государю...

– Государю сейчас не до этого, – отрезал Рузский. – Через две недели вопрос решится сам собой.

– Какой вопрос, ваше превосходительство?

Рузский не ответил.

– Вы свободны, полковник.

Кузьмин-Караваев вышел из кабинета.

Он знал, что только что произошло. Его слова, его «предварительный намёк» превратились в телеграмму, искажившую смысл братского предупреждения.

«Великий князь считает отъезд государя необходимым».

Правда: «Великий князь умоляет государя спастись».

Итог: «Великий князь – за отречение».

Он сел за свой стол, открыл служебный журнал и начал перебирать входящие.

Рука не дрожала.

Она уже привыкла. 3 марта 1917 года, в день, когда великий князь Михаил Александрович отказался принять престол, Александр Михайлович находился в Киеве.

Он узнал об отречении из газет.

Газеты ввали. Газеты писали, что государь «сам принял решение», что «армия и народ единодушно поддержали», что «Россия вступает в новую эру». Великий князь читал эти строки, и лицо его становилось всё бледнее.

– Это неправда, – сказал он адъютанту. – Ники никогда бы не отрёкся добровольно. Никогда.

Через неделю до него дошли подробности.

Телеграммы Алексеева. Давление Рузского. Изоляция в Пскове. И – его собственная телеграмма, та самая, искажённая, сокращённая, превратившая мольбу о спасении в политический манифест.

– Я этого не писал, – сказал он, когда ему показали текст. – Я говорил другое. Я говорил... Господи, я же просил его уехать, спрятаться, спастись!

– Кто искажил текст? – спросил адъютант.

Александр Михайлович молчал долго.

– Неважно, – сказал он наконец. – Важно, что теперь это уже не исправить.

Он сидел у окна, глядя на серое мартовское небо, и молчал.

Весь день.

Всю ночь.

Потом у него начались перебои с сердцем, и врачи запретили волноваться.

Волноваться было уже незачем.

... В своих мемуарах, написанных через двадцать лет в эмиграции, Александр Михайлович посвятил этому эпизоду всего несколько строк:

«В феврале 1917 года я пытался предупредить государя об опасности. Мои слова были переданы неверно. Когда я узнал об этом, было уже поздно. Я не ищу виновных. Я искал способ спасти брата – и не нашёл»

Ни имени Алексеева. Ни Рузского. Ни Кузьмина-Караваева.

Только короткое «переданы неверно» – и вечное молчание.

Почему он не назвал имена? Потому что не знал их? Или потому что знал – и простил?

Мемуары молчали.

Кузьмин-Караваев прочитал их в 1933 году, в парижской библиотеке, и долго сидел, глядя в одну точку.

Великий князь мог его уничтожить. Одной фразой, одним именем в мемуарах – и полковник Кузьмин-Караваев навсегда остался бы в истории как человек, исказивший последнюю надежду императора.

Но великий князь промолчал.

Может быть, потому что понимал: Кузьмин-Караваев был лишь инструментом. А инструменты не выбирают, в чьих руках они окажутся.

... Михаил сидел в читальном зале Российского государственного архива военно-морского флота уже четвёртый час.

Он приехал сюда после разговора с Верой Павловной, надеясь найти хоть что-то, что подтвердило бы или опровергло его догадки. Фонд великого князя Александра Михайловича был разобран, описан, изучен вдоль и поперёк – казалось, здесь не могло быть ничего нового.

Но он всё равно заказал опись. Листал страницу за страницей, машинально отмечая знакомые названия.

«Переписка с императором Николаем II. 1894—1917». «Дневниковые записи. 1914—1918». «Материалы по истории флота».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.